В. Аристов





ПОДАРОК ДЕКАБРИСТА

(По страницам неизвестных рукописей и забытых книг)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1970

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Казанского университета*

Под научной редакцией — проф. *Р. И. Нафигова*

Книга В. В. Аристова «Подарок декабриста» — это серьезное и в то же время увлекательное путешествие в прошлое. Прошлое нашего края, далекое и близкое; прошлое людей, живших или побывавших здесь; прошлое книг и рукописей, написанных давно, но и сейчас с готовностью раскрывающих свои пожелтевшие страницы перед читателем.

Состоит эта книга из очерков, документальных новелл, небольших рассказов, повествующих о поисках и находках автора в результате многолетней работы в рукописных отделах библиотек, в архивах и частных книжных собраниях Казани, Москвы и других городов страны. Перед нами проходят исторические личности и литературные герои, всплывают забытые, но достойные памяти людской имена, прослеживаются необычные, а иногда и трагические судьбы книг и рукописей, к которым, наконец, пришла вторая жизнь...

1-6-4
13-69

ПОДАРОК ДЕКАБРИСТА

В русской литературе, пожалуй, найдется не так уж много произведений с более сложной судьбой, чем у знаменитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

На самом деле, — уже в 1824 году работа над комедией в основном была завершена. Но автор так и не увидел свое любимое детище напечатанным: для царской цензуры «Горе от ума» было неприемлемым произведением. Лишь в 1833 году, через четыре года после трагической смерти Грибоедова, его комедию напечатали отдельным изданием, да и то с огромным количеством искажений, внесенных грубой рукой цензора.

Сложность судьбы «Горя от ума» — и в установлении подлинного, окончательного ее текста. Автограф комедии не сохранился, печатное издание 1833 года тоже никак не закрепляло воли автора; оно закрепляло ограниченность и трусость цензора. Поэтому современные издатели и исследователи вынуждены обращаться к наиболее авторитетным рукописным копиям комедии — «Булгаринскому списку» и «Жандровской рукописи», получившим свои названия по фамилиям владельцев этих рукописей: Ф. В. Булгарина и А. А. Жандра, людей, близких Александру Сергеевичу Грибоедову.

Несмотря на запреты, «Горе от ума» в России знали хорошо. И прочитали комедию сразу же после 1824 года, когда Грибоедов закончил работу над ней. «Горе от ума» до 1833 года не была ни разу напечатана, зато она была переписана тысячи и тысячи раз. И эти списки комедии разошлись по всей России. Фаддей Булгарин с полным основанием писал в 1830 году в журнале «Сын Отечества и Северный архив»: «... Ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где бы не было списка сей комедии...»[1]

Скорее всего такая вот распространенность комедии Грибоедова и сыграла определенную роль в том, что цензура, наконец, в 1833 году разрешила издать «Горе от ума». К чему запрещать произведение, которое и так все читали и имели в своих библиотеках?

Однако даже и после 1833 года «Горе от ума» продолжали переписывать: печатное издание с пропусками и цензурными искажениями не удовлетворяло передового читателя. И комедия Грибоедова распространялась в списках вплоть до 1862 года, когда в России вышло первое полное, не фальсифицированное цензурой издание «Горя от ума».

Естественно, что и Казань не была исключением в этом отношении. В нашем городе, конечно, читали и переписывали «Горе от ума». Известный автор многочисленных исторических романов И. И. Лажечников, бывший одно время инспектором студентов Казанского университета, вспоминал впоследствии: «Во время моего пребывания в Казани появились два яркие явления: одно атмосферическое на небе, с ужасным треском и гулом, другое на земле, литературное... Литературное — была бессмертная комедия Грибоедова. Она появилась здесь в рукописи. Между молодым поколением ее вырывали из рук, хотя, как запрещенная, она жгла их; списывали по ночам, в несколько дней знали наизусть. Горе было бы тому, у кого она попалась бы на глаза университетской полиции!» [2].

Инспектором студентов И. И. Лажечников был в сентябре — декабре 1825 года. Каким же образом «Горе от ума» так быстро попало в Казань? И в полном ли виде?

Особенно задуматься над всем этим меня заставила весьма любопытная книга, изданная в начале нынешнего века, в 1904 году, в Мюнхене. Книга называется «Записки декабриста», автор ее — Дмитрий Завалишин, активный член тайного общества декабристов в Петербурге.

Завалишин пишет о своей жизни в Петербурге, о деятельности декабристов. Вспоминая о месяцах перед восстанием — лете и осени 1825 года, он рассказывает в своих записках: «...Но как число членов значительно уже умножилось, и приготовление полков шло, по-видимому, успешно, то я и предложил воспользоваться на-

ступающим временем отпусков, чтобы, не возбуждая подозрения, разослать комиссаров во все губернии с двоякой целью — и исследования общего положения, и распространения либеральных идей... С другой стороны, литературные деятели захотели воспользоваться предстоящими отпусками офицеров для распространения в рукописи комедии Грибоедова «Горе от ума», не надеясь никаким образом на дозволение напечатать ее. Несколько дней сряду собирались у Одоевского, у которого жил Грибоедов, чтоб в несколько рук списывать комедию под диктовку... На мою долю досталось первому привезти эту комедию в Москву и Казань»[3].

Вот почему Казань получила подлинный текст грибоедовской комедии одной из первых. И не от кого-нибудь, а из рук декабриста Дмитрия Завалишина!

Я решил убедиться в справедливости утверждения Завалишина и выяснить, нет ли каких-нибудь материалов, подтверждающих, что «Горе от ума» переписывалось в Казани именно с рукописи, привезенной сюда декабристом.

Оказалось, что ни в мемуарах казанцев, ни в исторических работах нет никаких, даже беглых высказываний по заинтересовавшему меня вопросу. Не нашлось подобных материалов и в местном архиве. Неужели полная неудача?

Впрочем, оставались еще сохранившиеся до настоящего времени в Казани рукописные списки «Горя от ума». Обязательно нужно все их внимательнейше просмотреть! Может, на некоторых будут пометки владельцев или переписчиков, указания, откуда переписывался текст комедии...

Особых надежд на успех этого своего предприятия я не возлагал: ведь из десятков (а может быть, и сотен!) списков комедии Грибоедова, «ходивших» в Казани, сохранилось лишь четыре: три — в рукописном отделе Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, один — в нашем краеведческом музее. Сразу надо сказать, что никаких особых помет на этих четырех списках не обнаружилось...

Вот они лежат передо мной — четыре списка «Горя от ума», сделанные в разное время разными людьми и сменившие не одного владельца.

Большая тетрадь, исписанная небрежным размаши-

стым почерком, коричневыми чернилами. На первом листе кратко: «Горе от ума. Соч. Грибоедова», на последнем «По препоручению помощника попечителя библиотеки 19-го егерского полка с подлинника переписывал оного ж полка юнкер М. Веселов» [4]. По почерку, бумаге, водяным знакам ясно, что юнкер Веселов переписал комедию Грибоедова где-то в 30-х годах XIX века...

«Переписывал с подлинника»... Какого подлинника? Вряд ли, конечно, с автографа самого Грибоедова. Но, видимо, с рукописи достаточно авторитетной.

Все ошибки и описки в тексте исправлены, вписаны пропущенные строчки. Исправления сделаны тремя разными почерками (не почерком юнкера М. Веселова!). Значит, после Веселова у рукописи сменилось, по крайней мере, три владельца. А вот и след четвертого: маленькая бумажная наклейка на ветхом переплете. На ней характернейшим почерком профессора Казанского университета Николая Павловича Загоскина помечено: «Горе от ума».

Это уже кое-что! Н. П. Загоскин собрал в конце XIX и начале XX века довольно интересную коллекцию разнообразных рукописей. Причем собирал он только казанские рукописи. То, что список юнкера Веселова был в конце прошлого века в Казани, можно считать доказанным. Но когда он попал в наш город? И кто это М. Веселов? Если он был дворянином и жил в Казанской губернии, его фамилия должна быть в местной дворянской родословной книге...

И вот я медленно переворачиваю лист за листом огромный, прошнурованный и припечатанный сургучной печатью том в красном бархатном переплете. Таких томов несколько: в первый вносились самые именитые дворянские роды, во второй — лица, которые получили дворянский титул, дослужившись до определенного воинского чина, в третий — те, кто стал дворянами на основании табели о рангах царской России, так сказать, штатские офицеры. Юнкера Веселова следует, конечно, искать во втором томе...

Мелькают фамилии. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая... Веселов! Коллежский регистратор Михаил Иванович Веселов, попечитель хлебных запасных магазинов Казанского уезда. Уж не он ли? Запись в книгу внесена в 1857 году, к этому времени юнкер вполне мог стать коллежским регистратором.

Читаю все графы: «женат вторым браком, имеет детей от первого брака — сына Михаила 16 и дочь Ольгу 11 лет, и от второго же брака — сына Дмитрия»; деревень и крепостных не имеет... Ого! Да тут про него много — целых три страницы исписано!

Отец моего Веселова был солдатом Нижегородского пехотного полка, в 1779 году дослужился до сержанта, в 1782 «отставлен за болезнию в Нижегородский батальон прапорщиком», с 1783 года служил соляным приставом в Вятском наместничестве. Его биография проста: горбом выслужил дворянство. А что же его сын, Михаил Иванович Веселов? Родился он 24 ноября 1801 года, 27 января 1825 года вступил в 30-й егерский полк.

Сомнений не остается. Конечно, это он, составитель нашего списка «Горя от ума».

Но биография у сына совсем не такая гладкая, как у отца. О периоде с 1825 по 1834 годы — ни слова (а как раз в это время он перешел, очевидно, из 30-го егерского в 19-й), а про 1834 год написано, что М. И. Веселов лишен дворянства «по Высочайше утвержденной конфирмации... во время служения... подпрапорщиком Рижского пехотного полка за разные противозаконные поступки» и «разжалован в рядовые». За что? Об этом документы не рассказывают. Известны лишь некоторые вехи дальнейшей службы М. Веселова: в 1838 году «включен в Ардатовскую инвалидную команду», где получил чин унтер-офицера, в 1846 — «уволен от службы» в чине коллежского регистратора и работал писарем в Симбирском гарнизонном батальоне. Только в 1856 году Веселову было возвращено дворянство [5].

Теперь мы можем более точно датировать наш список «Горя от ума» — он составлен между 1825 и 1834 годом. Видимо, в Казани или где-нибудь поблизости...

Интересно, конечно, было бы узнать, чем провинился в 1834 году подпрапорщик Михаил Веселов. Но никаких других документов о нем пока не найдено. И на этом можно кончить рассказ о списке «Горя от ума», сделанном юнкером.

Все остальные, сохранившиеся в Казани списки «Горя от ума», смогли сообщить мне гораздо меньше. Что-либо определенное можно сказать лишь о списке из библиотеки Платона Заринского [6]. Штемпели на бумаге указывают, что список сделан между 1852 и 1859 годами. Весь

текст комедии написан четким, писарским почерком, на титульном листе дата — 1825 год. Очевидно, эта дата относится к той рукописи, с которой снималась данная копия.

Платон Егорович Заринский (1830—1881) — казанский священник, педагог, историк-краевед, член-учредитель Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, страстный собиратель местных рукописей. Раз этот список был в его библиотеке, то, видимо, он сделан в Казани...

Два оставшиеся списка вообще ничего не могли сказать: на них не было никаких помет. Их можно только приблизительно датировать: один — тридцатыми, другой — пятидесятыми годами XIX века.

Итак, пометы на списках комедии Грибоедова рассказали все, что могли. Про два списка можно с большой степенью вероятности предположить, что они сделаны в Казани. Но все эти сведения не очень-то приближали меня к решению интересовавшего вопроса. Теперь оставался анализ самого текста...

Я рассуждал так: если все, или хотя бы большинство казанских списков «Горя от ума» копировались с той рукописи, которую привез сюда Дмитрий Завалишин, то они должны иметь какую-нибудь отличительную особенность. Это будет или пропущенная строка, или неправильное слово... или еще что-нибудь.

Это, во-первых. А во-вторых, раз Завалишин увез список комедии Грибоедова из Петербурга в 1825 году, то все казанские списки должны быть сходны с «Жандровской рукописью», более ранней, сделанной в 1824 году, а не с «Булгаринским списком», в котором отражены некоторые изменения, внесенные Грибоедовым в комедию позднее.

Наступил медленный, утомительный процесс сравнения текстов. К четырем рукописям, лежавшим на столе, добавились три книги — издание «Горя от ума» 1833 года, факсимильные воспроизведения «Жандровской рукописи» и «Булгаринского списка».

Три рукописи оказались явно похожими! Это список юнкера Веселова, список из библиотеки Платона Заринского и еще один рукописный экземпляр комедии Грибоедова, владельца которого установить не удалось. Все эти списки сделаны в разное время (между 1825 и 1834 годами, между 1852 и 1859 годами, в 30-е годы XIX

века), но имеют общие особенности. Они восходят к «Жандровской рукописи», содержат полный текст комедии, включая все вымаранные цензурой места, и, главное, дают некоторые, правда, не особенно значительные, разночтения с общераспространенным текстом «Горя от ума». Например, везде вместо «уклонюсь» употреблено «удалюсь», вместо «различать» — «разбирать», вместо «повольнее» — «повернее»... Эти и некоторые другие разночтения не встречаются ни в одном из известных списков комедии[7]. Так сказать, чисто «казанские» варианты.

То, что все казанские списки «Горя от ума» дают одни и те же разночтения, доказывает их происхождение от общего корня. Таким «общим корнем» скорее всего и была рукопись, привезенная в Казань декабристом Дмитрием Завалишиным.

Если комедия Грибоедова появилась в Казани осенью 1825 года (время приезда Завалишина), а к концу этого же года ее уже вовсю переписывали, о чем свидетельствуют воспоминания Лажечникова, то вполне естественно, что первым «оригиналом» «Горя от ума», с которого пошли все казанские копии, и была завалишинская рукопись. А то, что в этой рукописи были мелкие ошибки, легко объяснимо: ведь переписка комедии Грибоедова, по воспоминаниям самого Завалишина, велась под диктовку, несколькими лицами и второпях.

Кстати, может быть, отсюда и выражение Веселова: «переписывал с подлинника» — с рукописи, привезенной в Казань из Петербурга, рукописи, привезенной человеком, который переписывал ее под диктовку самого Грибоедова...

О первых результатах работы над изучением казанских списков «Горя от ума», о своих предположениях я рассказал на страницах республиканской газеты «Советская Татария». И буквально через несколько дней получил письмо из Москвы, от Петра Степановича Краснова, владельца уникальной в Советском Союзе библиотеки, где собрано все о Грибоедове — десятки изданий «Горя от ума», сотни книг, газетных и журнальных статей, посвященных жизни и творчеству писателя. Петр Степанович сообщал мне, что в Центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, в Москве имеется еще один список «Горя от ума», с очень интересными пометами, сделанными в Казани.

Обязательно надо посмотреть этот список! Я с нетерпением дожидаюсь командировки в Москву и сразу с вокзала спешу в бахрушинский музей. Но музей оказывается закрытым для посетителей: санитарный день. Объясняю сотрудникам музея свое нетерпение и прошу сделать для меня исключение и показать рукопись. Меня понимают и без лишних слов проводят в небольшую, сплошь заставленную шкафами и столиками, комнату. И скоро я уже держу в руках толстую (в 157 страниц) тетрадку и жадно перелистываю ее. Почерк разборчивый, текст полный... Ага! Вот он, казанский вариант: «разбирать» вместо «различать». А вот и эта строфа:

«В любви предателей, в вражде неукротимых,
Рассказчиков неутомимых...»

У Грибоедова ж было наоборот:

«В любви предателей, в вражде неутомимых.
Рассказчиков неукротимых...»

В казанских копиях «Горя от ума» — и в списке из библиотеки Платона Заринского, и в списке неизвестного происхождения — слова переместили из одной строки в другую. Точно так слова стоят и в этой рукописи...

Из владельческой записи следует, что этот список «Горя от ума» «из библиотеки артиллерии поручика А. С. Чуносова», в конце тетрадки — любопытнейшие стихи владельца рукописи:

«Любезный Грибоедов!
Как ты умел отделать чудаков,
Московских тех глупцов,
Которые умеют лишь обедать,
Надувшись знатностью, и ни о чем не ведать,
Как только о себе самих...
Благоразумен каждый стих
В комедии твоей.
Вот здесь образчики характеров
московских в лицах,
Как будто в небылицах,—
Ах, нет! Все истина, что ум твой
ни сказал.
Увы! Я сам то испытал,
С тобою что свершилось!
Ах! Нехотя глава сама собой скатилась
К груди растерянной моей,
Когда я размышлял о глупости людей:

За что не любят умных в свете,
А любят дураков?
За что гонима правда в мире,
А лесть любима?
За что достоинства в презреньи,
Богатых глупость в предпочтеньи?
За что?.. Но лучше замолчать,
Не раздражать врагов,
Они готовы доказать, что свет
И подлинно таков» [8].

Свой стихотворный монолог А. С. Чуносов озаглавил так: «Стихи, написанные в Казане г. Чуносовым в одном благородном обществе в Казане августа 30, 1828 года по прочтении сей единственной комедии «Горе от ума». Стихотворный монолог переходит в раздумья биографического характера, из которых мы узнаем, что А. С. Чуносов «страдал невинно от злонамеренных людей, его преследующих с ожесточением», что стихи написаны «в горестных обстоятельствах жизни», когда он оставил Москву и уехал на родину — в Симбирск и Казань...

Жалобы на жизнь и судьбу заканчиваются наивным четверостишием:

«Меня ничто вредить не может.
Я злобу — твердостью сотру!
Врагов моих червь кости сгложет,
А я пиит — и не умру» [9],

и энергичной подписью: «А. Чнсвъ...»

Да, Петр Степанович Краснов оказался прав: пометки на списке А. С. Чуносова действительно очень интересны. А то, что этот список, самый ранний по своему происхождению, имеет те же особенности, что и остальные казанские списки, еще раз подтверждает мысль, что все они происходят от одного общего корня — рукописи, привезенной Завалишиным.

Казани повезло! Передовые, демократически настроенные казанцы получили настоящее «Горе от ума» — без изъятий и цензурных искажений. И произошло это уже в 1825 году. Хороший подарок привез в Казань декабрист Дмитрий Завалишин.

КРАМОЛЬНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Бывает и так: ищешь одно, а находишь другое. То, что абсолютно не искал. И это, неожиданно найденное, оказывается таким интересным, что забываешь обо всем и отдаешься целиком распутыванию тайн, связанных с негаданной находкой...

Так вот и случилось несколько лет назад со мной. Я готовил к юбилейной дате выставку о В. Г. Белинском. Хотелось сделать ее поинтересней. Что можно показать на такой выставке? Книги того времени, те, о которых писал Белинский, журналы, в которых печатались статьи «неистового Виссариона»... Все это, конечно, хорошо, но в общем-то довольно обычно. Интересно, а знали ли Белинского студенты Казанского университета — его современники? Раз возникнув, мысль не давала покоя, и я с жаром взялся просматривать кипы студенческих сочинений, отыскивая следы влияния великого критика на умы молодых казанцев.

Одна тетрадь, вторая, третья, десятая — ничего интересного. Гладкие, причесанные под профессора, соображения. Будто их авторы совсем не заглядывали в журналы, никогда не читали статей Белинского, которых жадно ждала вся передовая Россия.

Устало и с недоумением продолжаю вчитываться в разнообразные почерка. И вдруг — читаю и не верю своим глазам: «В нашем христианском мире это должно бы, кажется, иметь другой характер, ибо идея главная, или основа всему, есть; мысль, по которой мы должны организовать наше общество, нашу жизнь, находится в нем во всей ее силе, ясности и определенности; но взгляните даже на современное состояние обществ, посмотрите на движение их политики, тогда смело можно сказать, что христианство не только не принесло пользы, не только не принято, но даже посрамлено, обесчещено,

плоть и теперь правит миром, а христианство, принявшись глубоко в сердце народа, служит только орудием его оков, его духовной гибели»[1].

Хорошенькая характеристика «христианского» мира да и самого христианства! Кто же это и когда написал? Смотрю на титульный лист кандидатской диссертации: «Значение первых произведений Гоголя в русской литературе вообще и их заслуга для народности. Рассуждение студента 1-го отделения философского факультета Ив. Пасяды». 1848 год!

Сразу возник вопрос, кто же он такой, этот Иван Пасяда? Неожиданно быстро повезло: в тот же день я нашел его фамилию в фундаментальном био-библиографическом словаре «Деятели революционного движения в России». Правда, словарь сообщал довольно скудные сведения: «Пасяда (Посяденко) — студент Киевского университета, член Кирилло-Мефодиевского общества (1846—1847), арестован в 1847 году и определен для окончания учения в Казанский университет, а потом на службу в Великороссии»[2].

Предельно лаконично! Даже дат жизни нет! Но теперь ясно: более подробные сведения об Иване Пасяде должны быть в материалах о деятельности Кирилло-Мефодиевского общества.

Общество это возникло на Украине в 1846 году, в обстановке глубокого кризиса крепостнической системы. Самым известным кирилло-мефодиевцем был Тарас Шевченко. Основное требование общества — ликвидация крепостного права и равенство сословий. Однако не все члены общества были едины во взглядах. Если последовательный революционер-демократ Тарас Шевченко призывал готовить народ к вооруженному восстанию против царя и помещиков, то другие кирилло-мефодиевцы (Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш) видели перед собой лишь мирный путь реформ и распространения просветительских идей.

Развернуть свою деятельность общество не успело: уже в марте 1847 года, после доноса провокатора, оно было разгромлено. Для кирилло-мефодиевцев наступили дни допросов и очных ставок, месяцы казематов третьего отделения в Петербурге. Затем последовала расправа. Тарас Шевченко был сослан рядовым в Оренбуржье. «Без права писать и рисовать»,— добавила на

приговоре рука августейшего императора Николая I. Пострадали и другие члены общества...

Все это хорошо известно. Однако я-то надеялся найти сведения об Иване Пасяде, о его роли в обществе. А их почти не оказалось. В делах третьего отделения хранится только черновик письма Пасяды учителю Полтавской гимназии Боровиковскому и написанное Пасядой, но неизвестно кому предназначавшееся, прошение.

В письме Пасяда восторженно приветствует возникновение тайного общества: «В Киеве будет основание общества, которое, без сомнения, может распространиться быстро... Каждый член руководствуется любовью к отчизне; все старание будет приложено к тому, чтобы разделить это горе и святое служение...» Горячей любовью к Украине дышат и строки прошения: «Бедная страна, тебя оставили все твои сыны, тебе изменили все люди, могущие облегчить твои страдания... Но кто скажет, чтобы не было и тех, кои всегда готовы помочь тебе, любезная страна моя? Есть и такие, кои готовы положить за тебя самую жизнь свою»[3].

К этим документам можно добавить показания, данные 15 мая 1847 года на следствии кирилло-мефодиевцем Георгием Андрузским при очной ставке с Пасядой: «Происходя из крестьян, он задумал во что бы то ни стало облегчить быт этого класса, ненавидел дворян, почитая их виновниками всего худого; ненавидел и монархизм, будто бы потворствующий помещикам... Задушевная мысль и молитвы его были восстановить Малороссию, но более изъявлял желание только облагородить жизнь простого народа»[4].

Окончательный приговор по делу свободолюбивого юноши гласил: «Студенту Пасяде, писавшему в преувеличенном виде о бедствии малороссийских крестьян, вменить в наказание содержание под арестом, отправить в Казанский университет для окончания курса наук, а потом определить на службу в Великороссийской губернии»[5].

Такая же судьба постигла и второго кирилло-мефодиевца из студентов Киевского университета — Георгия Андрузского.

Никаких других материалов о деятельности Ивана Пасяды в Кирилло-Мефодиевском обществе нет. Поэтому не мудрено, что многочисленные исследователи роли

и значения этого революционно-демократического тайного общества высказывались о Пасяде очень и очень неопределенно. Одни (бездоказательно) записывали его в последователи Тараса Шевченко, другие (опять-таки бездоказательно) считали обыкновенным либералом[6].

И о казанском периоде жизни Пасяды, о его судьбе после разгрома общества не было ничего известно. Составители биографической справки о нем писали, например, совсем недавно, в 1963 году в Украинской советской энциклопедии: «Про дальнейшую долю Пасяды (то есть после его ареста и высылки в Казань. — *В. А.*) не сохранилось достаточно полных данных; известно лишь, что после окончания Казанского университета он был отправлен на службу в одну из губерний России, под надзор полиции, без права выезда на Украину»[7].

Вот так: «не сохранилось полных данных» — и больше ничего.

Первым и, пожалуй, единственно настойчивым, кто пытался узнать что-нибудь о жизни Пасяды в Казани, был... сам Тарас Шевченко. Великий поэт-демократ пронес память о нем сквозь десять лет солдатчины. В 1857 году, возвращаясь из ссылки на пароходе «Князь Пожарский» и будучи проездом в Казани, Шевченко пытался расспрашивать о Пасяде.

«Князь Пожарский» стоял в Казани два дня — 13 и 14 сентября 1857 года. 13 сентября Тарас Шевченко записывает в дневнике: «Казань чрезвычайно живо напоминает собой уголок Москвы, начиная с церквей, колоколен до саек и калачей, везде, на каждом шагу видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, Московская*), ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается великолепным зданием университета, украшенного тремя ионическими портиками. Жаль, что этому прекрасному зданию не достает площади. Оно бы много выиграло, и монумент певца Екатерины не красовался бы во дворе в миниатюрном палисаднике, меланхолически созерцаемый

* Здесь Т. Г. Шевченко допустил неточность: эта улица называлась тогда не Московской, а Воскресенской.

рудою коровою (Шевченко говорит о памятнике Г. Р. Державину. — *В. А.*).

Полюбовавшись вместе с рудою коровою статуею сплетателя торжественных од и иной гнусной лести, я, проходя через двор, встретил студента с порядочно синим подбородком, почему и заключил, что он не новичек в здешней аудитории. На этом основании я обратился к нему с вопросом, не помнит ли он Пасяду и Андрузского. Он сказал, что не помнит...»[8]

То, что Тарас Шевченко расспрашивал в Казани о Пасяде и Андрузском, не удивительно: всех троих, видимо, связывали дружеские чувства. В период деятельности Кирилло-Мефодиевского общества юноши — Иван Пасяда и Георгий Андрузский — смотрели на поэта с огромным почтением. Пасяда, например, «Шевченку почитал великим поэтом» (показания на следствии Г. Л. Андрузского). Чувство любви к Тарасу Шевченко он сохранил в течение всей жизни...

Однако вернемся к дневнику Шевченко: никаких сведений о своих земляках в Казани ему узнать не удалось. Возможно, так и затерялись бы следы пребывания ссыльного товарища поэта в Казани. Затерялись, если бы не его кандидатская диссертация, та самая, что сейчас у меня в руках — сочинение «Значение первых произведений Гоголя в русской литературе вообще и их заслуга для народности», написанное Пасядой в Казани.

Залпом, от корки до корки прочитываю я эту кандидатскую диссертацию. Нет, не изменил своим взглядам поднадзорный студент Казанского университета. Все его сочинение проникнуто духом революционного демократизма. Посмотрите, какую убийственную характеристику жизни современного общества дает он: «Но время не позволяет мне сделать это (сравнить «Выбранные места из переписки с друзьями» с другими произведениями Гоголя. — *В. А.*), время, в которое не возбуждается ни мысль, ни чувство. Я не знаю, испытывают ли другие подобное состояние, но я, видя почти ежедневно картины настоящего, не могу ускользнуть от его пожирающей, все сокрушающей силы. Будь такое время мгновенно, человек испытывал бы в себе тоже быстроту в перемене чувствований, продолжительность же ужасного настоящего убивает в нас всякий зародыш на мысль и чувство: живем и в то же время нет жизни!»[9].

«Живем и в то же время нет жизни!», «ужасное настоящее» убивает «всякий зародыш на мысль и чувство» — только такие слова находит Пасяда для описания времени царствования Николая I, с полным основанием получившего в народе прибавку к своему имени — Николай Палкин.

Пессимизм этих выводов пылкого юноши не нуждается в оправданиях: надежды на быстрое освобождение народа оказались сплошной иллюзией, вместо борьбы — казематы и запрещение жить на горячо любимой Украине...

Нужно еще учитывать, что Пасяда не мог открыто высказывать свои взгляды в диссертации. Ведь она предназначалась для прочтения профессоров Казанского университета — лиц вполне благонамеренных и официальных. А положение неблагонадежного студента обязывало к осторожности: предписание, по которому его перевели из Киевского университета в Казанский, устанавливало «учреждение» «за ним и во время учения, и на службе строгого надзора». Кроме постоянного полицейского надзора — запрещение в любых обстоятельствах «увольнять в Малороссию». Поневоле будешь осторожным!

И в работе Пасяды появляются страницы, где он, хотя формально и не пишет ничего запрещенного, но вполне определенно высказывает то, что думает. Вот, например, характеристика реализма великого русского писателя, анализ произведений которого стал темой диссертации Пасяды: «Гоголь только был в состоянии принять на свою душу все нравственные недуги наши, все духовные наши раны и... обнажить русского человека до последнего его члена, должен был показать нам нас же самих в натуре; выставить глазам всякого, до какой степени духовных бедствий дошел современный русский человек, какая сеть пороков и гадостей опутывает его с головы до ног..., указать, где источник его зол, несчастий и бедствий..., высказать, какие нужны средства, какие пути предстоят нам, чтобы свергнуть с себя нас гнетущее иго»[10].

«Гнетущее иго»? Это же предельно просто расшифровывается — крепостное право. «Источник зол, несчастий и бедствий»? Не самодержавие ли имеется в виду? «Какие нужны средства, какие пути предстоят нам»?

И на этот вопрос Пасяда знал ответ. Для него-то сомнений не было: иначе не вступил бы он в Кирилло-Мефодиевское общество.

Вообще, удивительная эта кандидатская диссертация — «Значение первых произведений Гоголя в русской литературе и их заслуга для народности». Начать с темы — работа посвящена современной литературе. Для одного этого студенту надо было проявить и самостоятельность, и смелость. Пасяда писал диссертацию, не следуя за научными авторитетами: до него никто не подвергал творчество Гоголя подробному анализу. Фактически его работа — это первая диссертация по творчеству Гоголя.

Все сочинение Пасяды написано с революционно-демократических позиций. Вот еще одна цитата — о роли настоящего писателя в жизни общества: «Поэт есть достояние целой нации, а не одного какого-нибудь сословия... Душа его, по врожденной ей склонности к сочувствию и состраданию к человечеству, влечется более к состоянию народа, образующего корень и основу в государстве и всегда почти притесненного и угнетенного, ибо он, т. е. народ, носит на своей же шее все тяготы, все нужды, все бедствия...»[11]. Пасяда видит в писателе защитника и борца за интересы народа, творчество Гоголя отвечает его идеалу, поэтому-то он и обратился к изучению произведений великого писателя-реалиста.

Автор диссертации проявил незаурядные способности и знания, обнаружил хорошее знакомство со статьями Белинского. И в понимании народности, и в объяснении реалистического метода творчества Гоголя, и в отношении к представителям «искусства для искусства», и в обрисовке предшественников Гоголя в русской литературе — во всем он следует за Белинским.

Пасяда даже сумел сказать о своих симпатиях к критику-демократу, чье имя находилось в это время под запретом в николаевской России: он заявил, что разделяет точку зрения на творчество Гоголя журнала «Телескоп». А ведь именно в «Телескопе» были опубликованы статьи Белинского о Гоголе!

Содержание диссертации Пасяды убедительно свидетельствует о его принадлежности к левому крылу кирилло-мефодиевцев, близости его мировоззрения к

общественно-политическим взглядам Тараса Шевченко. Теперь в этом нет никаких сомнений! Ни разгром общества, ни казематы третьего отделения, ни положение поднадзорного студента, оторванного от родины — ничто не сломило убеждений Ивана Пасяды...[12].

Поразительно, что за эту крамольную диссертацию Пасяда был удостоен звания кандидата. Его работу прочитали профессора А. К. Казембек, К. К. Фойгт, А. В. Попов, Н. А. Иванов, Ф. И. Фатер, И. Н. Березин, В. И. Григорович, О. М. Ковалевский (об этом свидетельствуют их подписи на обложке тетради), все они положительно оценили сочинение своего младшего коллеги по науке. Неизвестно, какими мотивами профессора руководствовались, но факт остается фактом: они не увидели в диссертации Пасяды крамолы. А если и увидели, то никому не сообщили об этом. Правда, некоторые из них, возможно, не слишком внимательно читали сочинение: почерк у Пасяды не принадлежит к числу разборчивых...

Так была открыта еще одна страница в истории Кирилло-Мефодиевского общества, в истории революционно-демократического движения в России. Естественно, что мне захотелось узнать о дальнейшей судьбе ссыльного студента. Как сложилась его жизнь? Вернулся ли он на родную Украину?

Поиски в Казани оказались почти безуспешными. «Именная ведомость об учащихся в Казанском университете за 1844—1847 годы» характеризовала его так: «Пасяда Иван, 25 лет, православный, из мещан, казеннокоштный, поведение — 4, учеба — не аттестован, в университете учится первый год, на курсе состоит первый год, отделение — общей словесности». В графе «примечания» значится: «По высочайшему повелению из университета Св. Владимира» (так официальные бумаги называли ссылку под полицейский надзор!)[13].

Университетские архивы тоже оказались скупыми: в фонде попечителя Казанского учебного округа лишь в трех делах упоминается фамилия Пасяды. 2 июня 1848 года ему разрешили представить кандидатскую диссертацию, 17 декабря 1848 года совет университета присвоил Пасяде звание кандидата, 23 июня 1849 года пришло утверждение решения совета университета[14].

К этим скудным, собранным по крохам сведениям, можно добавить лишь одно: сам Пасяда в диссертации

жаловался, что его работе над изучением творчества Гоголя очень мешала болезнь. Это и понятно: жандармские казематы никогда и никому здоровья не прибавляли...

И все! Больше ни одного сведения о Пасяде в Казани. Но как раз тогда, когда поиски в Казани перестали приносить результаты, мне пришел на помощь учитель-пенсионер Яков Яковлевич Галайчук из города Брусилов Житомирской области. Он тоже собирал материалы об Иване Яковлевиче Пасяде и довольно многое нашел в разных архивах: о до- и послеказанском периоде его жизни.

Родился Пасяда в 1823 году, в городишке Зинькове на Полтавщине, в семье вольных крестьян, приписанных к сословию мещан. (Отсюда путаница — крестьянин или мещанин). Затем годы учебы в Полтавской классической гимназии, с 1843 года — в Киевском университете, арест и ссылка в Казань. После окончания Казанского университета кандидата Пасяду послали работать в Рязань, под надзор тамошнего губернатора. С 1852 года — скучная канцелярская служба в одном из многочисленных департаментов Петербурга.

Но жизнь царского чиновника не могла удовлетворить Ивана Яковлевича, оставшегося в душе убежденным демократом. И в 1856 году он добивается разрешения выехать на лечение за границу, а в 1857 году вообще выходит в отставку и путешествует по Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, слушая лекции лучших профессоров в различных университетах. Йена, Лейпциг, Берлин... Пасяда увлекается философией, изучает политический строй западноевропейских стран, читает издания Герцена и Огарева — вольное русское слово. Постепенно у Ивана Яковлевича возникает интерес к теоретической и практической педагогике, он изучает работу учительских семинарий Саксонии и Пруссии, слушает лекции, сам дает уроки в немецких начальных школах, принимает участие в педагогических конференциях. Знакомство с выдающимся русским хирургом и педагогом Н. И. Пироговым убеждает его в правильности задуманной цели — отдать свою жизнь воспитанию учительских кадров.

В 1865 году Пасяда возвращается в Петербург. Он рвется на родину, но только через четыре года его мечте

было суждено сбыться: в 1869 году, по рекомендации Н. И. Пирогова, он был назначен директором Коростышевской учительской семинарии.

Коростышевская учительская семинария — первая на Украине — стала центром подготовки передовых педагогов для народа. Пасяда организовал среди будущих учителей семинарскую артель — своеобразную форму самоуправления. Обязательным элементом воспитания будущих учителей стал труд — в поле и в мастерских. Учиться в семинарию шли в большинстве дети крестьян.

Девять лет работал И. Я. Пасяда директором Коростышевской семинарии и вырастил целую плеяду учителей нового типа — общественных деятелей, борцов за интересы беднейшего крестьянства. Начальство косо посматривало на семинарию, а когда выяснилось, что среди ее выпускников много революционеров, то Пасяду в конце 70-х годов XIX века заставили выйти на пенсию и снова запретили учительствовать на Украине. И выдающийся украинский педагог-демократ вынужден был работать в Воронеже, Оренбурге...

Только в 1894 году И. Я. Пасяда вернулся в Коростышев. В этом же году он умер.

Обо всем этом мне сообщил Яков Яковлевич Галайчук. Собирал он материалы об И. Я. Пасяде много лет. Еще в 1924—1927 годах он впервые услышал имя Пасяды. Яков Яковлевич тогда работал преподавателем Коростышевского педагогического техникума, организованного после Октябрьской революции на базе семинарии. Народная молва хранила имя первого здешнего директора — «богатыря» Пасяды...

Так была восстановлена биография Ивана Яковлевича Пасяды. Оказывается, иногда ошибаются и энциклопедии... Теперь мы точно знаем, что соратник Тараса Шевченко до конца дней своих не изменил идеалам юности. Он был настоящим революционером-демократом.



ГУБЕРНАТОР ОШИБАЛСЯ...

Казанский губернатор Борис Александрович Мансуров был доволен. Его донесением в Петербурге будут удовлетворены! Перо легко скользило по бумаге: «Получа отношение Вашего превосходительства от 23 минувшего генваря № 96 об отобрании книги под названием «Ложный Петр III, или жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Е. Пугачева», я в то же время предписывал казанскому полицмейстеру Симакову, чтобы он, ни мало ни медля, в здешних книжных лавках удостоверился, нет ли в продаже оной книги, и буде где она окажется, то все экземпляры отобрав, представил бы их ко мне. Но на сие полицмейстер донес мне, что оной книги как в книжных лавках, так и нигде здесь в продаже не оказалось».

Губернатор подумал и написал еще одно предложение: «Присовокупляю, что в прочих уездных городах управляемой мною губернии книжных лавок не состоит...»[1]. Наверное, Мансуров был даже рад этому: меньше книжных лавок — меньше забот. Ведь книги — это особый товар. За ними строгий присмотр нужен...

Опасения губернатора можно легко понять: попечитель Казанского учебного округа сообщил ему, что книгу запретил сам император Александр I!

Что же эта за книга — «Ложный Петр III, или жизнь, характер и злодеяния Емельяна Пугачева», вызвавшая столько забот у губернского начальства в Казани да и по всей России? Я внимательно перелистываю два небольших томика «в осьмушку» (самый распространенный формат книг конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века, примерно в половину теперешней школьной тетради). Загадки начинаются сразу: автор нигде не указан. Вообще, ни на обложке, ни на титульном листе нет никаких фамилий. Встреча-

ются, правда, в тексте «замечания» и «примечания» переводчиков, но это не проясняет дела. С какого языка книга переведена? И кем?

Точно на книге обозначено только одно — время и место издания сочинения: «Москва, в вольной типографии Федора Любия, 1809».

Лишь совсем недавно Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому, сопоставившему все библиографические сведения об этой книге, удалось установить имя переводчика. Им оказался мещанин Сергиевского посада Москвы Сергей Федорович Переплетчиков[2]. Установлено и то, что С. Ф. Переплетчиков перевел французскую книгу, изданную в 1775 году (в год казни Пугачева!), в Лондоне. Любопытно, что лондонские издатели назвали сочинение о Пугачеве переводом с русского! Правда, в этом утверждении не было ни грана истины... Кто был настоящим автором книги — неизвестно до сих пор.

Через 33 года мнимый «перевод с русского» был действительно издан на русском языке в Москве. Это была первая книга в России о «мужицком царе» Емельяне Пугачеве...

Чем же было вызвано внимание цензуры к книге? Почему дело о «Ложном Петре III» дошло до Александра I?

На все эти вопросы можно ответить совершенно определенно, если познакомиться, даже бегло, с содержанием самой книги.

Действительно, уже с первых страниц явственно проступает глубоко сочувственное изображение вождя восставших крестьян, скрытое за формой авантюрного романа. Вчитайтесь только в такую вот характеристику: «Пугачев, бывши в других обстоятельствах, родившись под другим небом, мог бы быть защитником своего отечества... Он имел все качества, отличающие великого мужа... Его мятежный дух с ужасом отвергал идею рабства, которому чувствовал принужденным повиноваться, и Пугачев дышал только независимостью и свободой».

Роман неизвестного автора, конечно, далек от правдивого изображения крестьянского восстания, от реальных исторических фактов. Чего в нем только нет! И мелодраматическая история любви Пугачева к красавице Марфе, и вымышленные соратники Пугачева — атаман Скорондоно и француз Боаспре, и захватывающие дух

козни злодеев, и рука провидения... Но все это можно простить за одно: уважение к Пугачеву и восставшим.

«У нас есть законы и обряды, которые если бы были приняты государями, то может быть государства сделались бы мирнее и процветали бы более... Мы почли республиканский вид пред прочими»,— так высказывается один из повстанцев, героев книги.

Правда, автор книги то и дело называет Пугачева злодеем, но тут же изображает его гордым и честным человеком, выдающимся государственным деятелем. Погрешив против истины, он заставляет Пугачева посетить Францию, Италию, Англию, чтобы «знать людей, нравы и обыкновения всех народов. Политика, война, коммерция — все втекало в предначертанный им план...»

Но и европейские порядки не удовлетворили героя романа: «Пугачев нашел себя обманутым в той идее, какую имел об английском народе. Он ...искал вольности, везде слышал произносимое сие священное имя, но везде видел слезы невольничества... Купеческий парламент, забывая пещись о народных выгодах, сам способствовал к разрушению древнего трона вольности...»

И все это написано о Пугачеве, которого в официальных царских манифестах называли не иначе, как душегубом и кровопийцей, извергом, подлым убийцей!

И читатели, и литературная общественность, конечно, быстро поняли, что к чему. Смелось книги напугала большинство литературных критиков того времени. Сразу же после выхода ее в свет, в 1809 году, появляется такая рецензия на это анонимное сочинение: «Преглупый и несвязный... роман, в котором неизвестный автор старается всячески сделать поступки известного злодея извинительными, оправдывает его во многих случаях, придает характеру изверга нечто геройское; рассказывает о нем небылицы, бранит духовенство и правления...»[3].

Если такую рецензию опубликовал прогрессивный журнал «Цветник», который издавали поэты-радищевцы, что же говорить о реакции на книгу официальных властей? Однако успел пройти год, прежде чем цензура спохватилась и, исправляя собственную ошибку, включила «Ложного Петра III» в реестр запрещенных изданий. По всей России были разосланы строгие предписания: найти и конфисковать...

И, возможно, совсем не случайно не была обозначена на книге фамилия переводчика. Он предусмотрительно постарался законспирироваться, обоснованно ожидая неприятностей за свой смелый перевод...

Насколько успешно прошла конфискация по всей России, судить трудно. Очевидно, за год многие из 1800 отпечатанных экземпляров книги успели разойтись среди любителей чтения. Во всяком случае, например, в Москве сумели изъять только 39 экземпляров книги, а на всей огромной территории Казанского учебного округа (в него в начале прошлого века входили Сибирь, Урал и все Поволжье) в книжных лавках был обнаружен... один экземпляр запрещенного романа. «Повезло» губернатору Нижнего Новгорода. Книгу о Пугачеве изъяли, а затем «препроводили» с соответствующими бумагами в Казань — центр учебного округа.

Между прочим, эта книга хранится и сейчас... в университетской библиотеке. Тот самый экземпляр «Ложного Петра», который конфисковала полиция в Нижнем Новгороде! В свое время мудро решили, что, хотя государь император и запретил книгу, ее надо сохранить... в библиотеке. К такому выводу пришел совет Казанского университета 17 июня 1811 года, получив запрещенный роман.

Казанские профессора смотрели на книги несколько иначе, чем губернатор... Поэтому-то тогдашний библиотекарь профессор Сторль (первый казанский библиотекарь) и занес роман «Ложный Петр III, или жизнь, характер и злодеяния Емельки Пугачева» в документальный каталог, под номером 8646 (столько книг насчитывала университетская библиотека в 1811 году).

То, что сохранился этот экземпляр запрещенного романа о Пугачеве, не удивительно: в больших библиотеках книги обычно не пропадают. Однако до нас дошли еще два «казанских» экземпляра этой книги. Причем оба они попали в государственное хранилище — университетскую библиотеку уже после Октябрьской революции, из национализированных частных библиотек.

Если просмотреть эти книги, то убедишься в том, что они принадлежали казанцам. На одном экземпляре владельческая запись известного казанского книголюба начала XIX века Тавриона Молоствова, на втором — Александра Смирнова и Александра Аристова (оба они

принадлежат к известным дворянским родам Казанской губернии). Причем владельцы прекрасно понимали главное содержание романа: на корешке одного экземпляра вытеснено такое название: «Пугачев», на другом — «Жизнь Пугачева».

А ведь частные библиотеки гораздо больше государственных подвержены превратностям судьбы. И, естественно, не все экземпляры запрещенной книги, которые имелись в Казани в начале XIX века, дошли до наших дней. Так сколько же их было в Казани 159 лет назад, в 1811 году!

А как же донесение губернатора Мансурова? Значит ошибался губернатор, сообщая в Петербург 15 февраля 1811 года успокоительные сведения об отсутствии в Казани запрещенной книги?

Кто знает, может ошибался губернатор, а может, просто отписался. Он даже не сообщил, продавалась ли раньше эта книга в Казани! А она, конечно, продавалась: иначе откуда же роман о Пугачеве попал в руки многих казанцев? Однако искать «зловредную» книгу в 1811 году в книжных лавках, действительно, было смешно: роман о Пугачеве, которого в Казани хорошо помнили — кто с ужасом, а кто с затаившейся надеждой — и не должен был месяцами ждать покупателей...

Печатное слово не пропадает. Как бы его ни запрещала цензура, как бы ни старались обнаружить его губернаторы и полицмейстеры...



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ САТИР ФЕОНОВА

Поэт Василий Феонов не упоминается ни в одном курсе литературы и ни в одном библиографическом пособии. Это и не удивительно: при жизни он напечатал всего несколько стихотворений: три — в московском «Вестнике Европы», в 1820—1825 годах, два — в казанском журнале «Заволжский муравей», в 1833 году[1]. И все!

К тому же он не всегда подписывал свои стихотворения: под теми, например, что опубликованы в «Заволжском муравье», стоят только звездочки. И никакого намека на Феонова!

Так что библиографов-литературоведов, людей тщательных и кропотливых, и упрекнуть не за что. Не могли они заметить такого поэта — Василия Феонова. Впрочем, если бы и подписывал Феонов все свои стихотворения, вряд ли бы он мог рассчитывать на память потомков. Правда, у него заметно искреннее чувство:

«Ты счастлив, друг! Твои лета страданий,
Лета страстей прошли как смутный сон...
Не так со мной: под парусом желаний
Еще все вдаль летит мой утлый челн.
Я не погиб... но скоро ветер бурный
Опять дохнет, но мрак грозящих туч
Готов покрыть отвсюду свод лазурный
И помрачить надежды светлый луч!...»

Но мало ли кто писал искренние стихи! Пять заурядных стихотворений не делают человека поэтом, и никто бы никогда не вспомнил Василия Феонова, если бы его творчество ограничивалось ими. Чтобы понять, чем оно интересно, надо несколько подробнее рассказать о самом Феонове.

Василий Тихонович Феонов — сын бедного причетника из села Чепчуги. Учился он в Вятской семинарии, но за какие-то провинности из семинаристов был разжало-

ван в хлебопеки. Однако юноша продолжает мечтать об образовании и в свободное время, тайком, читает разные книги и учебники. За год он приобрел знаний больше, чем мог дать ему семинарский курс! В 1814 году Феонов бежит из Вятки в Казань. Вскоре его приметную фигуру можно было увидеть на приемных экзаменах в университете.

Так Василий Феонов стал студентом Казанского университета. В Казани он прекрасно изучил латинский язык, увлекся философией, здесь же он начал писать стихи — в 1816 году в типографии Казанского университета была отпечатана тоненькая брошюра в восемь страничек «Ода студента Василия Феонова».

Мне не удалось прочитать эту оду. Ее нет ни в одной из казанских библиотек, ни в крупнейших библиотеках Москвы и Ленинграда.

В 1817 году, после окончания университета, Феонов был назначен учителем в Пермь. Сначала он преподавал латинский язык в главном народном училище, потом в гимназии. Но не преподавательская работа принесла ему известность и даже славу: в Перми хорошо помнили о Феонове и через десятки лет после его смерти (умер В. Т. Феонов в 1834 году). Известность Феонову принесли стихи. Не те, что изредка печатались в журналах... Другие — яркие и смелые сатиры. Они не могли быть напечатаны, они передавались из уст в уста, переписывались, и вскоре их повторял весь город. Сегодня доставалось губернатору, завтра — архиерею, взяточнику-чиновнику... Не сладко жилось «сильным» города Перми рядом с поэтом-сатириком.

Однако случилось так, что после смерти Феонова почти все его сатирические произведения пропали. Некоторые из них просто затерялись, сотни разошедшихся по городу списков с сатир Феонова уничтожил большой пермский пожар 1842 года, в огне погиб и сундук, полный рукописей самого Феонова, хранившийся у какого-то чиновника из казенной палаты.

Очень скоро передовые пермяки, историки, краеведы вспомнили о Феонове и бросились на поиски его рукописей или хотя бы списков с его сатирических произведений. Такие поиски велись с 50-х годов XIX века на протяжении сорока с лишним лет. Но результатов они почти не дали.

Была приблизительно, в общих чертах, установлена биография Феонова, определен круг его знакомых и друзей. Современники пермского поэта вспомнили несколько любопытных эпизодов из его жизни, дали краткие, но выразительные характеристики и самому Феонову и его стихотворениям.

В связи с этими поисками небезынтересно будет привести несколько высказываний о Феонове. Вот строки из статьи Егора Мухачева: «Ум, талантливость и независимость убеждений резко выдвигают его из современного ему общества. Между прочими талантами он владел способностью писать недурные, по его времени, стихи; некоторые из них печатались в журналах двадцатых и тридцатых годов, а большая часть, представляя в существе своем едкие сатиры на современные личности, осталась после него в рукописях, которые едва ли не сгорели в общий пермский пожар в 1842 году. Не многое от этих рукописей, и то в отрывках, сохранили изустные предания...» [2].

Статья Егора Мухачева была опубликована в первой книге «Пермского сборника», вышедшей в свет в 1859 году. Любопытнейшая и интереснейшая это книга — «Пермский сборник»: сколько здесь самых разнообразных материалов по истории, экономике, фольклору, культурной жизни Пермского края! Но о Феонове материалы очень и очень скудны.

Правда, рядом с заметкой в одну страничку Мухачева напечатаны несколько более обширные «Дополнения к заметке г. Мухачева» составителя сборника, известного пермского краеведа Д. Смышляева. Но и в этих «Дополнениях...» очень мало фактов о жизни Феонова.

Д. Смышляев сообщает один яркий эпизод, живо рисующий характер озорного и независимого поэта-сатирика: «Феонов подметил, что директор училищ, Никита Савич Попов, составил весьма оригинальные мнения о учителях гимназии. Феонов является однажды к нему и просит позволения прочесть новое свое стихотворение. Попов очень рад, усаживает его, садится сам и слушает. Речь идет о учителях, которые, подлаживаясь к мнению о них директора, выставлены в смешнейших каррикатурах. Попов в восторге прыгает на стуле, восклицая: «правда! верно! отлично! Так его, мошенника!.. валяй

его!..». Но, о, неожиданность! — Феонов заключает свое произведение таким образом:

Кто же предводитель сих ослов? —
Никита, Савин сын, Попов... и т. д.

Попов в исступлении вскакивает со стула, бросается на Феонова, стараясь вырвать у него рукопись, которую тот, уклоняясь от преследований, упорно продолжает читать, оканчивая описанием свойств самого директора, — наконец, притворяется сплошавшим — и бумага остается в руках торжествующего Попова. Тогда Феонов начинает, в свою очередь, за ним гоняться, упрашивая его возвратить ему дерзкое писание. Попов, конечно, не дает, бегает по комнате и кричит, что это пасквиль, что он его представит начальству, будет жаловаться... Феонов как бы покоряясь своей участи, берет, наконец, шапку и готовится уйти.

Можно представить себе всю ярость Попова, когда, не дождавшись даже выхода Феонова, он развертывает доставшуюся ему бумагу — и видит белый лист.

Феонов читал наизусть!»[3].

Однако самих сатирических стихотворений Феонова ни Егор Мухачев, ни Дмитрий Смышляев не знали. Первый вспомнил только маленькую эпиграмму, второй сумел разыскать и опубликовать одно сатирическое стихотворение (да и то в неполном и искаженном варианте). Поиски не давали результатов. К 1860 году, времени выхода второй книги «Пермского сборника», была дополнительно обнаружена еще одна (двухстрочная) эпиграмма Феонова. А потом многие годы не дали никаких находок. Немудрено, что в 1876 году Д. Смышляев пришел к печальным выводам: «Современники Феонова, знавшие наизусть его сатиры, к сожалению, уже давно перемерли, и теперь уцелели, по преданиям, лишь немногие краткие отрывки... Знаменитая сатирическая поэма его «Исчезновение Гиля» совершенно забыта...»[4].

Столько лет поисков — и такие неутешительные результаты! Может и правда, исчезли без следа сатирические произведения Феонова?

Сейчас я могу ответить с полной определенностью: нет, не исчезли.

Совсем недавно в Казани был найден рукописный

сборник стихотворений Феонова. Можно ли представить волнение, с которым я держал в руках эту грязную, из дешевой сероватой бумаги, тетрадку, сшитую белыми суровыми нитками... Обложки нет, листы исписаны крупным, размашистым и весьма небрежным почерком. Черные чернила почти не выцвели, читаются легко. Крупно написанный заголовок: «Сочинения Феонова»[5].

Где лежала десятки лет эта тетрадка? В университетском архиве, среди сотен студенческих курсовых сочинений и кандидатских диссертаций прошлого века. Я наткнулся на нее совершенно случайно, просматривая груду студенческих работ. Но внимание она привлекла сразу — уж больно эта грязная, небрежно обрезанная, самодельная тетрадка не походила на аккуратнейшие, в черных клеенчатых корках студенческие диссертации (теперь, заканчивая университет, пишут дипломную работу, а в XIX веке писали кандидатскую диссертацию; защитившие ее назывались кандидатами. Кстати, кандидатом окончил Казанский университет и В. Т. Феонов).

Как попал сборник сатирических стихов в одну компанию со скучноватыми сочинениями студентов-юристов? Этого уже сейчас не узнаешь... Да и не это главное. Ведь найдены стихи Феонова, которые десятки лет искали известные историки и краеведы...

Внимательнейшим образом просматриваю каждый лист рукописи. Ясно видны филиграни — водяные знаки, часто встречающиеся на старой бумаге. По филиграням можно довольно точно установить время, когда был переписан этот сборник стихов: уже после смерти Феонова, между 1837 и 1842 годами (когда был пермский пожар); тогда же, видимо, он был увезен из Перми...

Первые стихи рукописного сборника не особенно интересны: «Вера», «Совесть», «Лицемеры»; они были опубликованы в «Вестнике Европы». Однако неизвестный переписчик, человек, судя по всему, не шибко грамотный, относился к Феонову с огромным уважением. И он приводит все варианты стихотворений, встречающиеся, по его выражению, «в других оригиналах». Вот уж неоспоримое доказательство существования большого количества рукописных сборников Василия Феонова!

Затем идет никогда не печатавшийся «Гимн Кириллу»:

«О, благодетельный Кирилл!
Что ты в Перми не натворил...
От Егошихи и до Слутки
Построил тротуары в сутки
Из переборов, из полов,
Взятых на время из домов.
Наставил будок среди улиц,
Велел брать в часть коров и куриц,
Вкопал столбы для фонарей,
Завел пожарных лошадей
Возить питомиц на гулянье,
Пожарные построил зданья,
Чтобы давать тогда сигнал,
Когда пожар уж перестал...».

«Благодетельный Кирилл» — это пермский губернатор К. Н. Тюфяев, знаменитый своим самодурством. Феонов написал это стихотворение, по-видимому, в 1824 году, когда Александр I посетил Пермь, и Тюфяев старался показать «товар» лицом:

«Обил дома теском,
Усыпал улицу песком,
Аптеку, школу и больницу,
Почтовый дом и сиротницу
Почтил уродливым орлом
С одним подстреленным крылом...»

«Гимн Кириллу» не был известен полностью. Д. Смышляеву удалось записать лишь отрывок из этой сатиры, да и то с искажениями.

Завершается наш сборник сатирической поэмой «Гилль. Происшествие 1827 года». Той самой, которую считали «совершенно забытой»!

Сразу же, как я прочитал название поэмы, фамилия Гилль вызвала у меня смутные воспоминания, причем не связанные с литературой о Феонове, которую я читал последнее время. Где-то я встречал эту редкую фамилию еще раньше. Но где? Оказалось, в толстенном томе из нескольких сотен листов с отношением Казанского губернского правления в Казанский университет. На восьмом листе его напечатано отношение — об аресте на имущество оптового соляного пристава Василия Гилля. Пермский соляной пристав Гилль проворовался, а когда раскрылись крупные хищения в государственных соляных магазинах, сумел «пропасть без вести». Во все концы России пошли бумажки о его розыске. Одна из

таких бумажек и сохранилась в отношениях Казанского губернского правления.

В своей поэме Феонов со свойственной ему едкостью описывает историю разоблачения крупного государственного вора. Виноват был не один Гилль — щедротами его пользовались все высшие чиновники Перми. Все воровали: и судьи, и ревизоры... Поэтому и «пропал без вести» Гилль:

«Сказать по правде, не в укор,
Хотя Гилль был казенный вор.
Но в банк он не играл,
Родне всей помогал,
Пермяк утехой быть хотел,
Чудак — себя лишь не жалел:
Всегда открыто жил
И угощать друзей любил,
Чрез них и место он достал
И нажил было капитал...
Они ж его и разорили,
Скорей бежать уговорили.
А вся беда: он деньги им давал,
Спасая всех, один пропал...»

Фамилии взяточников Феонов зашифровал инициалами. В свое время расшифровывались они, конечно, легко...

Можно представить, сколько шума вызывало в свое время сатирическое творчество Феонова, сколько травли и преследований он вынес! Но человек он был прямой и решительный и не боялся немилости начальства.

Хорошо, что, в конце концов, его стихи нашлись. Имя воспитанника Казанского университета В. Т. Феонова достойно памяти за смело и ярко нарисованную сатирическую картину жизни провинции начала прошлого века.



В-491— 3

НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОЛЬНОДУМЕЦ

Можно ли рассказывать о книгах, которые не были напечатаны? О книгах, которые никто не прочитал — разве что только цензоры? Я убежден: можно. И даже нужно. Иначе мы будем несправедливы к таким людям, как скромный коллежский асессор Иван Иванович Кужелев.

Никому не удалось прочитать его сочинений — ни в те времена, когда И. И. Кужелев писал их, ни сейчас. Ничего из того, что написал нижегородский коллежский асессор, не сохранилось. Однако все-таки мы можем узнать и о судьбе Кужелева, и о написанных им книгах. Откуда? Из бюрократической переписки, на которую так щедра была царская Россия. Из всяких отношений, писем, заключений и доносов, темой для которых послужило творчество этого вольнодумца.

Впервые мне встретилось имя Ивана Ивановича Кужелева, когда я просматривал бумаги Казанского общества любителей отечественной словесности. Это общество было первым литературным объединением в Поволжье, центром литературной деятельности Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Симбирска, Астрахани, Перми и других волжских и уральских городов в 1806—1818 годах.

30 апреля 1807 года Кужелев был избран «иногородним членом» общества. Директора Нижегородской гимназии — а тогда Кужелев занимал этот пост — этот факт и подтолкнул к литературной деятельности.

И вот вместо того, чтобы следить за дисциплиной и благонравием своих подопечных учеников, директор гимназии всерьез увлекается сочинительством. Он пишет одно за другим письма в Казанское общество любителей отечественной словесности. И в каждом — десятки вопросов. Каковы обязанности иногороднего члена?

Что делать? «Упражнения мои состоят в переводах с французского, немецкого и латинского языков. Труд сей ревностно бы понес, если бы представлены были на сих языках какие-либо пьесы для обработки. Страшусь, не имея здесь порядочной библиотеки, что труд мой останется тщетным...» [1]

И Кужелев то переводит на разные языки псалтырь, то начинает писать стихи. Но не всем людям дарован природой поэтический дар. Директор Нижегородской гимназии тоже был начисто его лишен — об этом свидетельствует приложенное к одному из писем стихотворение «Русак в поле»:

«Бонапарте весть вещает,
Что всех в свете
презирает.
Что один он есть мудрец.
Он-то лишь и удалец...» [2]

Но скоро Кужелев находит себя. Он увлекается передовыми, вольнолюбивыми идеями французских просветителей и материалистов. И в 1808 году уже переводит не псалтырь, а Бюффона и Вольтера. Общество одобрило его труды, нашло в переводах из Бюффона пользу «особливо для молодых россиян», но на вопрос — переводить ли Вольтера и в дальнейшем, ответило весьма уклончиво.

Черновик письма Кужелеву из общества — образец ответа, когда, как в детской игре, не полагается говорить ни да, ни нет. Вопрос оставлен «на Ваше собственное благорассмотрение». Вообще, конечно, Вольтер хороший писатель, но «очень многие сочинения сего писателя не могут быть изданы по причине цензуры»[3].

Видимо, после такого чересчур благоразумного письма Кужелев потерял прежний интерес к мнению казанских литераторов. Его переписка с обществом постепенно ослабевает, в год он присылает не больше одного, вежливого, но холодного письма. Биографические сведения о нем за этот период тоже очень скудны. Если в 1807 году он был директором Нижегородской гимназии, то о дальнейшем можно лишь сказать, что в 1815 году Кужелев служил уездным судьей в городишке Горбатове и преподавал в уездном училище немецкий и француз-

ский языки. Об этом сообщает «Список членов Казанского общества любителей отечественной словесности».

Одно несомненно: Кужелев продолжал свои литературные и научные занятия. В первой русской провинциальной газете «Казанские известия» время от времени появляются его этнографические и метеорологические заметки — в 1812, 1817, 1818 годах... Никаких крупных работ нижегородского поборника просвещения не печатают. Не те времена! Казанские коллеги не зря предупреждали его...

Последние годы царствования Александра I — годы разгула самой мрачной реакции. В Казани важнейшей фигурой стал Михаил Леонтьевич Магницкий, всесильный попечитель учебного округа, мечтавший «публично разрушить» Казанский университет. Свирепствует и цензура. О духе ее лучше всего может дать представление циркуляр министра просвещения А. К. Разумовского, полученный в 1814 году Казанским цензурным комитетом. Циркуляр этот сохранился в бумагах комитета: «...Между издаваемыми вновь романами выходят многие, кои, хотя и не содержат в себе мест, явным образом противных какой-либо статье устава о цензуре, но свобода по цели оных двусмысленным выражениям и ложным правилам, могут быть почитаемы (эти романы — *В. А.*) противными нравственности; часто сочинители сих романов, хотя, по-видимому, и вооружаются против пороков, но изображают оные такими красками, или описывают с такой подробностью, что чрез то самое увлекают молодых людей в пороки, о коих полезнее бы было вовсе и не упоминать.

По сим причинам нахожу нужным, чтобы цензурные комитеты в рассмотрении романов соблюдали величайшую осторожность, одобряя к напечатанию такие токмо, кои имеют истинно нравственную цель, не взирая на цену, каковую, впрочем, могут иметь как произведения словесности...[4]

Да-да, именно так: «не взирая на цену, каковую могут иметь как произведения словесности». Бедная русская литература! Что бы с тобой случилось, если бы ты повиновалась предписаниям цензора...

Кужелеву не везло. В 1819 году запрещают его перевод «Младенчество Франции», запрещают «за две или три дерзкие мысли». Так и сказано: «За две или три»!

Точно цензор не подсчитал, но этих «двух или трех дерзких мыслей» оказалось достаточным для решения судьбы рукописи. Мало того, сам попечитель затребовал рукопись, чтобы лично убедиться, какую крамолу проповедует в подведомственном ему, Магницкому, округе какой-то учитель...

Но Кужелев не обращает внимания ни на цензуру, ни на особое внимание к себе начальства. Он продолжает работать над переводами, проповедуя идеи равенства и братства людей, идеи Великой Французской революции. И в апреле 1822 года он присылает в Казанский цензурный комитет новую рукопись — перевод с французского книги «Путешествие в недра земли».

Что это была за книга — мы не знаем. Указаний на существование сочинения с таким названием во французской литературе начала прошлого века найти не удалось. Может, это был достоточно вольный перевод, близкий к оригинальному сочинению?

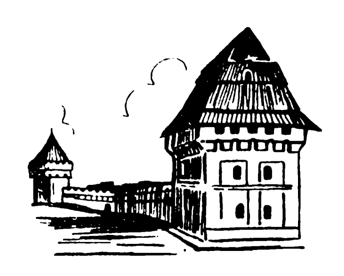
Судьба и на этот раз не улыбнулась асессору-вольнодумцу. Цензор Петр Васильев возмущенно донес о рукописи: сочинение Кужелева «не только не заключает в себе эстетического достоинства, ни основательных суждений... раскрытия в...нравственных истинах и христианских добродетелях, но совершенно вредит сим последним, ибо относительно веры доказывается возможность существования одной естественной религии, а потому... выставлено сомнение об аде на земле и бытии на оной духов тьмы; в описанных чудесах, подкрепляющих различные веры, сочинитель видит только или обман, или обыкновенное естественное следствие порядка вещей...

Относительно законов — будто бы власть царям дают одни народы, и что по сему можно их судить и изгонять...»[5]

Конечно, рукопись запретили, задержали в цензурном комитете, а о ее зловредном содержании донесли в Петербург — и попечителю, и министру просвещения. Оттуда пришел срочно приказ: запретить Кужелеву преподавать в уездном училище, оградить от его влияния молодежь.

Что было дальше с Иваном Ивановичем Кужелевым, мне не известно. Кто знает, как ему жилось в глухую

пору последних лет царствования Александра I. Никаких других материалов о нем пока не обнаружено. Впрочем, я не теряю надежды. Ведь возможно, что в каком-нибудь архиве хранятся и рукописи его запрещенных сочинений... А если так, то можно их найти. Найти и прочесть сочинения, которые в свое время не разрешалось читать.



СБОРНИК, ОТПЕЧАТАННЫЙ НА УНДЕРВУДЕ

Я могу представить себе, как это было... Ночь, горит керосиновая лампа в одном из домишек, приютивших за умеренную плату нескольких студентов — из тех, кому отдельная квартира не по карману. Яростно грохочут «ундервуды» — громоздкие неуклюжие создания, так не похожие на современные пишущие машинки... Отпечатанные страницы торопливо раскладываются, неумело сшиваются нитками. Завтра книга будет готова! Неважно, что она отпечатана не в типографии — для читателей это не будет иметь никакого значения.

Впрочем, эта книга и не могла быть отпечатана ни в одной из зарегистрированных типографий России. Ведь дело происходило в предгрозовом 1904 году, когда царское правительство, словно предчувствуя надвигавшуюся революцию, старалось подавить малейший проблеск свободной мысли. А эта книга звала на борьбу с ненавистным существующим строем, прославляла революционный подвиг и людей, отдавших великому делу освобождения народа свои жизни.

Сколько экземпляров книги было напечатано, мы не знаем, да и вряд ли это возможно узнать. Но один из них дошел до нас... благодаря «заботам» жандармов, изъявших ее у кого-то и сохранивших в своем архиве, в фонде вещественных доказательств.

Интереснейший это был фонд. В нем хранились листовки, запрещенные книги, нелегальные издания, изъятые жандармами при обысках и арестах. Эти материалы фигурировали затем, при судебном разбирательстве дела, как вещественное доказательство «преступной» деятельности человека. В жандармских архивах ничего не терялось и ничего не пропадало — поэтому все попавшие сюда революционные издания благополучно дожили до Октябрьской революции, а затем

были переданы по своему назначению — в государственные книжные и архивные хранилища.

К сожалению, той книге, о которой рассказываю сейчас, «повезло» не до конца. Прежде, чем попасть в отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, она прошла через руки несведущих людей. И те, видимо, желая «улучшить» ее вид, старательно стерли все карандашные надписи на обложке книги. До боли в глазах вглядываюсь в обложку, пробую рассмотреть ее на свет. Нет, ничего не прочитаешь. Вот заголовок, отстуканный на «ундервуде» — «Огонек. Сборник стихотворений». Ниже эпиграф:

«Ряд огней, непрерывно блестящих
В светлом будущем манит, зовет».

Вверху обложки наклеен ярлык с синим ободком — жандармского управления, на нем тушью вписан номер — «784». И все! А надпись в несколько строк, шедшая вдоль всей обложки, безнадежно стерта.

Впрочем, почему безнадежно? Ведь есть же самые современные технические средства, разные ультрафиолетовые лучи... Попробовать? на помощь пришла Казанская научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы. Но оказалось, что и техника не всесильна.

«Проведенным цветоделительным исследованием, макрофотографированием с усилением контраста частично проявлены отдельные штрихи и буквы подчищенного текста, — говорится в официальном заключении лаборатории. — Восстановить полностью карандашный рукописный текст на титульном листе исследуемой рукописи не представилось возможным ввиду того, что глубокой подчисткой краситель штрихов восстанавливаемого текста почти полностью удален с бумаги».

Но кое-что эксперты все-таки прочитали: слова «хранение» и дату «1904». Это уже удача! Значит, интересующий нас сборник стихов, самодельная машинописная книга, попал в руки жандармов в 1904 году и тогда же был сдан на хранение в фонд вещественных доказательств. Напечатан он был, видимо, несколько ранее — в 1903 или начале 1904 года.

Дальнейшее изучение текста показало, что печатался он на двух машинках с различным шрифтом; что печаталось сразу несколько экземпляров — на некоторых

листах остались следы копировальной бумаги. Очевидно и то, что листы книги сшивались второпях: некоторые вшиты дважды, другие пропущены, третьи переставлены местами. А в целом получилась настоящая книжка — 110 страниц, 45 стихотворений разных поэтов.

Большинство из стихотворений, вошедших в сборник, имеет ярко революционный характер и легально в России до 1905 года никогда не печаталось. Они публиковались или за границей, или вообще нигде не издавались, а распространялись только в рукописях.

Вот знаменитый «Гражданин» Рылеева:

«Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги,
И в бурном мятеже, ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги».

А ведь само имя декабриста Рылеева было в царской России под строжайшим запретом...

Есть в сборнике и одно из первых стихотворений, посвященных рабочему классу, забытого сейчас поэта Андрея Вольного:

«Облитые потом, стуча молотками,
Мы цепи стальные куем.
Куем для того, чтобы теми цепями
Сковали нас крепко потом.
Тяжелой ценой ежедневных мучений
Мы хлеб добываем себе
И гибнем под гнетом тяжелых лишений,
И стонем в суровой борьбе.
Покинув невольно родимую хату,
Мы толпами в город идем
И здесь за грошовую, жалкую плату
Позорное иго несем.
Лишенные света, свободного знанья
Мы словно слепые кроты —
Не видим источника мук и страданья
Средь вечной глухой темноты.
Но время настанет, желанное время...
Проснется рабочий народ
И все это жадных грабителей племя
Могучей рукою сметет.
Так будем же, братья, рабочему люду
Не цепи, а волю ковать,
И к смелой борьбе за свободу повсюду
Могучие силы сбирать».[2]

Многие стихотворения посвящены судьбе революционера и воспевают его несгибаемую волю и мужество:

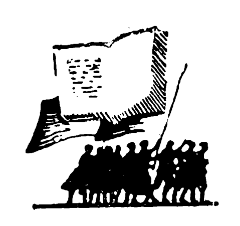
«Пускай он скован кандалами,
Для смелой мысли нет цепей...
Она парит за облаками
Орла могучего вольней...» [3]

Это строки Немировича-Данченко. А вот небольшое стихотворение Якубовича:

«Брат, замученный брат,
Пусть несчастливы мы,
Пусть гнетут и томят
Стены душной тюрьмы,
Пусть не слуги добру —
В нелюдимой глуши
Как свеча на ветру,
Гаснут силы души...
Нет, не даром горим
Мы, светя в темноту —
На почетном стоим
Мы, товарищ, посту.
Перед сильным врагом,
Не склоняясь в пыли,
Точно клад стережем
Честь родимой земли».

Содержание сборника свидетельствует о том, что составители его хорошо знали нелегальную революционную поэзию. Скорее всего они принадлежали к революционно настроенному студенчеству Казани. То, что сборник был напечатан в нескольких экземплярах, указывает и на цель его создания — распространение в агитационных целях.

Таким он был, торопливо и неумело сделанный сборник революционных стихов. Сборник, прошедший через десятки рук в предгрозовом, 1904-м. Сборник, отпечатанный на ундервуде...





революционных традициях Казанского университета, о революционном движении среди казанского студенчества написаны десятки научных работ и сотни статей. В научный оборот вошли и архивные документы, и листовки, выпускавшиеся студентами, и воспоминания очевидцев. И все-таки каждый раз, когда сталкиваешься с каким-нибудь новым интересным документом, показывающим подлинные мысли и чувства казанского студенчества, охватывает неподдельное волнение: ведь он добавляет еще один штрих к славной истории университета, носящего имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина...

С таким вот волнением читал я курсовое сочинение «Студенчество юридического факультета в религиозном, научном, политическом и общекультурном отношениях», написанное в 1908 году. Обычно курсовые и кандидатские диссертации (нечто вроде теперешних дипломных работ) студентов-юристов, хранящиеся в довольно большом количестве в рукописном отделе университетской библиотеки, не привлекают внимания исследователей. Самостоятельные, оригинальные мысли встречаются в них не так уж часто, к тому же и по тематике-то своей эти дореволюционные студенческие работы страшно далеки от нас: «Институт усыновления у римлян и других древних народов», «О наследовании по древнейшим памятникам русского права», «Историко-догматическое исследование договора доверенности по римскому праву»... И так далее, до бесконечности. Все эти студенческие работы по римскому, византийскому и еще какому-нибудь праву (обычно студентам-юристам давались темы не ближе 1861 года — года отмены крепостного права!), могут сейчас заинтересовать только специалиста по истории юриспруденции...

И вот среди этих работ, исследовавших устоявшуюся, спокойную, седую древность, — сочинение, написанное о современной жизни студенчества! Сочинение, основанное на анонимных анкетах, на которые ответили 1 ноября 1907 года сотни студентов Казанского университета.

Анкеты эти были очень обширны и включали массу вопросов: об учебе, быте, жизни, политических и литературных взглядах. Составители анкеты стремились предусмотреть все: сколько раз питается студент? сколько раз пьет чай? чем болеет? сколько и какой обуви имеет? где питается? где живет?

А так как анкеты были анонимными, студенты совершенно откровенно отвечали на все вопросы — в том числе и о своих политических взглядах.

Автор курсовой работы, Николай Астров, особенно не мудрствовал: он просто изложил содержание анкет, свел в таблицы ответы, подсчитал проценты... Однако в результате получилось четкое изображение студенчества Казанского университета в 1907 году. Астров точно зафиксировал мысли и убеждения казанских студентов, и это самое ценное в его работе, тем более, что сами анкеты не сохранились.

Каким же он был, студент Казанского университета, в 1907 году? В период, когда первая русская революция была уже разгромлена и потоплена в крови, когда обещанные царем свободы обернулись разгулом реакции и черносотенного террора.

Анкета, предложенная студентам, была подробной. И Николай Астров, следуя за ней, в начале работы приводит несколько статистических таблиц — о национальном, сословном, возрастном составе студентов юридического факультета Казанского университета. Характерные цифры: среди студентов-юристов было 2 чувашина; 2 киргиза и 1 татарин! И это из 538 человек, ответивших на анкету...

Любопытны данные о религиозных воззрениях студентов: 68% опрошенных объявило себя атеистами или «не разделяющими никакой религии». А ведь в Казанский университет поступало очень много семинаристов — выпускников духовных школ (в этом отношении 538 студентов, ответивших на анкету, разделяются так: 214 гимназистов и 324 семинариста)...

Но главное в работе Астрова не в этих, общих статистических таблицах, хотя ими и открывается сочинение «Студенчество юридического факультета в религиозном, научном, политическом и общекультурном отношениях». Самое интересное начинается, когда он переходит к анализу ответов на следующий вопрос анкеты: «Мировоззрение каких ученых и философов разделяете?».

Я внимательно рассматриваю эту таблицу, аккуратно вычерченную Астровым, и никак не могу перелистнуть страницу. Вроде обыкновеннейшая таблица — фамилия ученого или философа; количество заявивших, что разделяют его учение, процент. Но эта таблица — убедительнейший документ о революционных настроениях студентов университета. На первом месте в таблице стоит Маркс — его взгляды разделяют 124 студента! Это вдвое больше стоящего на втором месте народника Михайловского, получившего 57 голосов. А ведь к 124 голосам, поданным за Карла Маркса, нужно прибавить еще 24 — тех студентов, которые написали, что разделяют учение Фридриха Энгельса... 143 из 700 ответивших на этот вопрос! И это в 1907 году!

Для сравнения несколько цифр: последователями Гегеля объявило себя 15 студентов. Чернышевского — 10, Авенариуса — 9, Бебеля — 9, Христа — 7, Кропоткина — 7, Фихте — 6...

Анализируя эти данные, автор работы приходит к выводу, что «первое место... в глазах студенчества принадлежит бесспорно Марксу, получившему 17,4% голосов. Даже следующие в порядке большинства Михайловский и Толстой, оба вместе, не получили такого количества голосов, как Маркс!»[1].

Нелегко, наверно, дался этот вывод Николаю Астрову. Ведь он-то сам не относился к тем студентам, которые разделяли взгляды Маркса, и вообще был фигурой далеко не типичной для Казанского университета. Еще в студенческие годы Астров стал тайным агентом полиции.

Правда, надо отдать должное, маскировался он тщательно. Старался быть поближе к студентам-революционерам, даже принял участие в «Студенческом сборнике», напечатанном в 1907 году в Симбирске, лицемерно провозглашая:

«Вставай народ!.. Раскаты грома
Несут нам весть, весна идет!» (Н. Астров «Весенний клич»).

По окончании юридического факультета Николай Астров стал начальником одной из полицейских частей Казани, верой и правдой боролся с любым проявлением революционной мысли. Скорее всего и тему-то курсовой работы он взял не случайно, а исходя из «профессиональных» интересов полицейского агента. Он изучал своих врагов, искал корни «революционной заразы». Тем интереснее приведенные в его работе факты, статистические подсчеты и выводы. Их пришлось сделать человеку, ненавидевшему марксизм и социал-демократов...

Придя к выводу о популярности Маркса, Астров задается вопросом: среди каких студентов больше марксистов — тех, что пришли в университет из гимназии или из семинарии. Цифры и здесь не радуют Астрова: выполнив все подсчеты, он вынужден написать: «и семинаристы, и гимназисты сошлись в оценке лишь одного ученого — Маркса, поставленного и теми, и другими на первое место»[2].

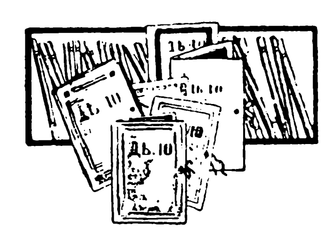
Нельзя равнодушно смотреть и на другую таблицу, составленную Астровым после анализа ответов на вопрос: «Взгляды какой партии разделяете?» Эта таблица тоже совершенно определенно говорит, нет, не говорит даже, а кричит о революционных настроениях студентов Казанского университета. Социал-демократами по убеждению назвали себя 167 студентов (31%)! Монархистов же нашлось всего 5 человек, кадетов — 38, октябристов — тоже 5. Не пользовались популярностью среди студентов партии власть имущих...

И эти заявления о приверженности к социал-демократической партии не были только словами. Из таблицы «Убеждения и аресты» мы узнаем, что из 167 студентов, назвавших себя социал-демократами, многие прошли проверку на прочность своих убеждений. 21 из них провел под арестом 1503 дня, а 8 других находились в административной ссылке 3162 дня.

Интересны данные и о любимом современном писателе. Буревестник революции Максим Горький получил 249 голосов, Чехов — 146, Лев Толстой — 97, Короленко — 80. А пресловутая госпожа Вербицкая — только

6, мистик Мережковский и декадент Бальмонт — по 3 голоса...

Таким рисует нам облик казанского студенчества анкета от 1 ноября 1907 года. И рассказ анонимных анкет, хотя в нем приведены лишь одни цифры и факты, не может не волновать нас. Этот рассказ интересен и убедителен, он заслуживает, чтобы мы знали о нем сегодня.



ИСТОРИЯ ОДНОГО АВТОГРАФА

Книги с автографами всегда имеют для меня ни с чем не сравнимую прелесть. Ведь про них-то уж доподлинно известно, что сам автор держал их в руках... И подарил кому-то — чаще всего дорогому, близкому человеку.

Правда, случается услышать и такое: «Подумаешь, автограф... Любопытно, конечно, однако никакого общественного интереса этот факт не представляет...».

Особенно часто такое мнение распространяется на дарственные автографы — краткие и не сообщающие, как это кажется на первый взгляд, ничего интересного.

Я с этим не согласен и сейчас расскажу историю одной коротенькой, в несколько строчек, дарственной надписи на книге, которая совсем недавно попала из букинистического магазина на полку Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского.

Уже в магазине — только я раскрыл эту книгу — почувствовал: сейчас свершится чудо. В такое трудно поверить! На прилавке лежал самый первый сборник стихов Александра Блока: «Стихи о Прекрасной Даме. Москва, книгоиздательство «Гриф», 1905». Книга изумительно сохранилась — чуть пожелтевшая от времени обложка с виньеткой и не вполне привычной для русских букв готической вязью. Ничего не поделаешь — Блок очень любил готику...

На титульном листе четкая надпись: «Милой моей няне Соне в знак любви. 16 ноября 1904 года. Петербург».

16 ноября 1904 года? Действительно, хотя на обложке книги и обозначен 1905 год, фактически первый сборник Блока вышел в свет в октябре 1904 года. А в ноябре этот сборник уже был подарен...

Но ведь 16 ноября — день рождения Блока! Уж не

автограф ли это самого Блока? Внимательно всматриваюсь в старинные, немного торжественные, красивые буквы. В памяти возникает эпизод, где-то когда-то вычитанный: Блок прекрасно понимал необходимость и нужность реформы русской орфографии, упразднения «еров» и «ятей», но сердцем принять ее не мог. Слово «лес», написанное через обыкновенное «е», теряло для него всякое обаяние. Лес переставал быть лесом... Блок даже выступал публично, заявляя, что «старых писателей, которые пользовались ятями как одним из средств для выражения своего творчества, надо издавать по старой орфографии...»[1].

Вспомнившееся заставляет особенно пристально всматриваться в «яти». Да, пожалуй, написаны они с любовью. Неужели, действительно, Блок? Надо сравнить с печатными факсимиле его почерка. Хорошо, что существуют издания с факсимиле: ведь в Казани неизвестно ни одного автографа Блока!

Самый волнующий момент. Передо мной две страницы — только что купленной книги и собрания сочинений Блока с факсимиле. Стараюсь не торопиться, тщательно сравниваю характерные буквы. Заглавное «М» с немного выдавшейся в сторону первой палочкой, простое четкое «с», «у», «з», «ять». Пока все сходится. Блок! Окончательно убеждает слово «Петербург»: шесть букв вместе, стоящие как-то особняком «у» и «р», маленькое, круглое «г». Никаких сомнений не остается. Да, это автограф Блока!

Но кто же это такая «няня Соня»? На помощь пришли воспоминания о Блоке, его письма, дневники, записные книжки. Вот что пишет тетка Блока, Мария Андреевна Бекетова: «До трехлетнего возраста у Саши менялись няньки, все были неподходящие, но с трех до семи за ним ходила одна и та же няня Соня, после которой больше никого не нанимали. Кроткий, ясный и ровный характер няни Сони прекрасно действовал на мальчика. Она его не дергала, не приставала с наставлениями. Неизменно внимательная и терпеливая, она не раздражала его суетливой болтливостью. Он не слыхал от нее ни одной пошлости. Она с ним играла, читала ему вслух. Блок любил слушать пушкинские сказки, стихи Жуковского, Полонского...»[2].

Видимо, на всю жизнь осталось у Блока уважение и

теплое чувство к няне Соне — С. И. Колпаковой, Регулярно, в течение всей жизни, няня Соня навещала его, и поэт отмечал этот визит как «событие», сообщая о нем в дневнике, записной книжке или в письме к матери:

«Таковы события. Еще сегодня была няня Соня, а в следующую субботу я читаю на закрытом вечере у князя Эристова»... (Письмо матери от 16 января 1910 года).

«Днем — няня Соня и разговоры о ее муже и ректорском доме» (Дневник, 3 ноября 1911 года).

«Утром — няня Соня...» (Дневник, 11 октября 1912 года) [3].

Подобные пометы о встречах с няней Соней, о разговорах с нею, о ее семье есть у Блока в записях и за 1913, 1914, 1918 годы. Все они, как и надпись на нашей книге, проникнуты искренней любовью. Понятно, что свою первую книжку он не мог не подарить няне Соне. И по-человечески хорошо, что сделал он это 16 ноября 1904 года — в день своего рождения...

Что ж, автограф рассказал все, что мог? Нет. Правда, теперь придется вступить в область допустимого.

Первую свою книгу «Стихи о Прекрасной Даме» Блок напечатал еще в студенческие годы и очень ее любил. Вот строки из письма к отцу от 29 октября 1904 года: «Сегодня получил, наконец, свой первый сборник, который посылаю вам. Пока не раскаиваюсь в его выходе, тем более, что «Гриф» приложил к нему большое старание и, по-моему, вкус...»[4].

Однако и критики, и читатели, и большинство поэтов встретили сборник Блока крайне холодно. Его стихи отказывались понимать даже друзья! Сергей Городецкий, впоследствие известный поэт, учившийся вместе с Блоком в Петербургском университете, вспоминает об этом времени: «...Помню, как в университете Блок торжественно мне передал первую свою книжку с ласковой надписью — грифовское издание, с готическим рисунком на обложке, который я тут же опротестовал, как ложь и несоответствие... Я упорно многого не понимал и требовал объяснений непонятных мест, совсем, как знаменитые критики того времени. Блок ничего объяснить не мог и только улыбался своей безмятежной и каменной улыбкой греческой статуи»[5].

Такое непонимание его стихов тяготило Блока. Отцу,

нашедшему в них массу несуществующих грехов, он грустно пишет: «Мне странно, что вы находите мои стихи непонятными и даже обвиняете в рекламе и эротизме. Мне кажется, это нужно «понимать в стихах». В непонятности меня, конечно, обвиняют почти все, но на днях мне было очень отрадно слышать, что вся почти книга понята, до тонкости часто, а иногда и до слез — совсем простыми «неинтеллигентными» людьми...»[6].

Стоп! Дата письма — конец декабря 1904 года, никаких комментариев к нему составители последнего, 8-томного собрания сочинений Блока не дают. Не о Колпаковых ли, семье няни Сони, которой книга подарена 16 ноября 1904 года, идет речь? Ведь Блок был человеком крайне замкнутым, всех его знакомых можно перечесть по пальцам, и среди них, кроме няни Сони, — ни одного «простого неинтеллигентного» человека...

После этого книга становится еще дороже. Те, кто читал ее, поняли Блока «до тонкости, до слез». А Блок так нуждался в этом...

Александр Блок

КНИГА ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ

Удача обычно не приходит одна. Так было и в тот день, когда в букинистическом магазине было обнаружено первое издание «Стихов о Прекрасной Даме» Александра Блока. Рядом с блоковским томиком на полке лежала и другая, весьма любопытная книга — «Фритиоф, скандинавский витязь. Поэма Тегнера. С шведского перевел Яков Грот. Второе исправленное издание. Воронеж, в типографии губернского правления, 1874».

Вряд ли бы эта книга заинтересовала меня своим названием, хотя, возможно, для специалиста она и представляет значительную ценность. Интерес и то ощущение удачи, которое трудно описать, но которое делает человека счастливым при неожиданных и незапланированных находках (а как находки запланируешь? Может, в этом и есть их особая прелесть?) вызвала небольшая, чуть выцветшая надпись по верху титульного листа книги: «Глубоко уважаемой Софье Васильевне Ковалевской от переводчика. 18 мая 1890».

Софье Ковалевской? Великой русской женщине-математику, чье имя знает каждый, чья жизнь похожа на увлекательный роман с запутанной интригой? Но почему Ковалевской?... И скандинавские саги? Почему книга, напечатанная в 1874 году, преподносится через 16 лет — в 1890 году?

Несколько новых «почему» добавлял и низ титульного листа, на котором стоял штамп (по-французски): «Русская Тургеневская библиотека. Париж, улица Бушери, 13».

Чтобы ответить на эти вопросы, пришлось обратиться к биографии Софьи Ковалевской. Естественно предположить, что раз книга подарена 18 мая 1890 года, то в этот день Софья Ковалевская и Яков Карлович Грот, вице-президент Российской Академии наук, должны были

встретиться. Как же это произошло? Вернее, как это могло произойти?

Кажется, Софья Ковалевская достигла всего, о чем мечтала. Она первая женщина-профессор, преподает в Стокгольмском университете. Парижская Академия наук присудила ей премию за работу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки, Шведская Академия наук тоже вручает ей премию. Российская Академия наук избирает ее своим членом-корреспондентом. «Воспоминания детства», напечатанные за границей и опубликованные потом в «Вестнике Европы», добавили к славе ученого и славу литературную. Но при всем этом Софье Ковалевской нет места в России. Не нужна женщина-профессор русским университетам. Не место женщине в науке — эта официальная линия царского правительства не допускает исключений даже для гениев.

А Софья Ковалевская страстно рвется на родину. Ей душно в Швеции. И в апреле 1890 года она едет в Петербург. Едет с надеждой что-нибудь изменить...

Но ничего не меняется. Ее восторженно встречают, говорят комплименты — и все. О работе в России — ни слова! Даже на заседание академии ее, члена-корреспондента этой академии, не пустили. С горечью и иронией пишет Софья Ковалевская в своем дневнике 19 мая: «Я спросила, могу ли присутствовать на академических сеансах в качестве члена-корреспондента. Чебышев заявил, что это не в обычаях Академии!»[1].

Вообще русские академики вели себя далеко не последовательно! Они восхищались на словах гением Ковалевской, приглашали ее домой, на званые приемы, но не в Академию...

За день до разговора с Чебышевым и произошла встреча Ковалевской с вице-президентом Российской Академии Гротом. Грот, видимо, думал об этой встрече и готовился к ней. Думал он и о том, что подарить Софье Ковалевской. Ведь у Грота были напечатаны десятки сочинений — о Ломоносове, Державине, Карамзине, Крылове, Пушкине, некоторые из них только что вышли из печати, но тем не менее подарил он Ковалевской свою раннюю работу, посвященную скандинавским сагам, зная, что она интересуется прошлым Скандинавии, ее литературой, эпосом.

И вряд ли этот подарок был актом простой вежливости. Ведь после смерти Ковалевской, наступившей через полгода после этой встречи, в январе 1891 года, Грот доказал, что помнил и ценил ее литературный талант. Он опубликовал в «Вестнике Европы» одно из стихотворений Софьи Ковалевской, полученное от ее шведских друзей. Софья Ковалевская получила возможность проститься с Родиной и рассказать о своей нелегкой судьбе этими глубоко автобиографическими и очень искренними стихами:

«Внезапно песня замолчала
И голос замер без следа.
И без конца и без начала
Осталась песня навсегда.

Как ненавистна показалась
В тот миг кругом вас тишина,
Как будто с болью оборвалась
В душе отзывная струна!..» [2]

Видимо, подарок Грота пришелся по душе Ковалевской. Вместе с хозяйкой книга приехала в Стокгольм. Взяла с собой полюбившуюся книгу Софья Ковалевская и в свою последнюю, предсмертную поездку, в январе 1891 года, когда она побывала в Генуе, Ницце, Канне, Париже. Узнав о существовании Русской Тургеневской библиотеки, которой в основном пользовались политические эмигранты, Ковалевская передала сочинение Грота туда. Ведь она знала Тургенева лично и очень любила его произведения.

Так работа Я. К. Грота попала в Париж. И обо всем этом рассказал коротенький, в две строчки, автограф. Кстати, факт встречи Софьи Ковалевской и вице-президента Российской Академии Якова Грота нигде не упоминается. Теперь мы знаем, что такая встреча была...

Кажется все... Однако, каким образом из парижской библиотеки книга попала в Казань? Ведь про Казань и Париж никак нельзя сказать, что они расположены рядом...

Этот вопрос занимал меня, но никаких целенаправленных поисков я не предпринимал, считая, что узнать, как книга очутилась в Казани, невозможно. И зря! Телефонный звонок от одного моего хорошего знакомого:

— Ты интересовался парижской Тургеневской библиотекой? Так у меня две книги из этой библиотеки...

— ?!

— Да, да, две книги... Откуда? Да я завтра занесу их, посмотришь. Сами-то по себе книги интереса не представляют...

Действительно, книги как книги, ничего особенного: «Русские юридические древности» В. Сергеевича и сочинение какого-то Л. Цегельского «Русь-Украина», издания начала нашего века. Но на обеих книгах знакомый штамп Русской Тургеневской библиотеки. Правда, адрес библиотеки указан уже другой. На книге 1902 года издания — ул. Святого Георга, д. 328, на книге 1916 года издания — ул. Валь-де-грас, д. 9. Видимо, Тургеневская библиотека довольно часто переезжала с места на место.

Из разговора выяснилось, что эти книги попали к моему знакомому совсем недавно, из библиотеки профессора-историка Дмитрия Михайловича Одинца, вдова которого, уезжая из Казани, раздавала книги всем желающим.

Удивительные судьбы бывают не только у людей, но и у книг. Через сколько рук прошел этот томик в скромном синем переплете! Его держал в руках Яков Карлович Грот, его читала и возила с собой Софья Ковалевская. Впрочем, его читало не одно дореволюционное поколение русских революционеров-эмигрантов, посещавших в то время Тургеневскую библиотеку в Париже. Интереснейшие данные об истории этого книжного собрания приводит Г. Г. Фирсов в своей статье «Тургеневская общественная библиотека в Париже», опубликованной в четвертом номере советского журнала «Русская литература» за 1968 год.

Тургеневская библиотека была основана в 1875 году по инициативе друга Маркса и Энгельса русского революционера Г. А. Лопатина. Активную помощь оказывал библиотеке и сам И. С. Тургенев. Ее читателями в основном были революционеры. Царское посольство в Париже считало библиотеку учреждением революционным, опасным. Даже случайное посещение ее считалось «крамолой». Ведь здесь свободно распространялось все то, что в России было под строжайшим запретом...

Илья Эренбург, вспоминая молодость, писал: «Книги я брал в Тургеневской библиотеке... Два поколения ре-

волюционной эмиграции пользовалось книгами «тургеневки» и обогащали ее библиографическими редкостями». Среди читателей библиотеки были Глеб Успенский, Лев Толстой, Ф. М. Достоевский, Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский и др. Работал здесь и Владимир Ильич Ленин. В Тургеневской библиотеке он хранил часть своего личного архива — знаменитый «чемодан Фрея» с партийными документами.

При оккупации Парижа немцами в период второй мировой войны по прямому приказу фашистского министра Розенберга Тургеневская библиотека была разгромлена. Почти все книги увезли в Германию, которые не найдены там до сих пор. Очевидно, они погибли. Удалось спасти немногое. Это сделал Д. М. Одинец.

Дмитрий Михайлович был председателем правления Тургеневской библиотеки в течение 15 лет — с 1928 по 1940 г. После разгрома библиотеки гитлеровцами его за антифашистские взгляды отправили в концлагерь. Последние годы жизни Д. М. Одинец работал уже в Казанском университете. Наиболее ценная часть библиотеки Д. М. Одинца и его личный архив после его смерти поступили в Научную библиотеку имени Н. И. Лобачевского.



ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА РУКОПИСЯМИ

Самые разные карты можно встретить — плотности осадков, распространения полезных ископаемых, средних температур, национального состава населения... Одни рассказывают нам о настоящем, другие повествуют о прошлом, третьи заглядывают в будущее. Не создана до сих пор, кажется, только одна карта — археографических находок.

А ведь такая карта была бы очень интересна. Ежегодно десяток археографов штатных и их добровольных помощников покидают крупнейшие книгохранилища больших городов и разъезжаются по всей стране. Их влекут глухие городишки и дальние деревни: там неожиданные находки вероятнее всего. Экспедиции привозят старинные рукописные книги, письма, которые написаны 200—300 лет назад, документы солидного возраста, грамоты...

Такие находки всегда уникальны: не бывает рукописей абсолютно, от слова до слова, идентичных; у каждой рукописи свое лицо, она хранит образ человека, написавшего или просто переписавшего ее. И каждая такая находка небезразлична науке, ведь новая найденная рукопись — это исторический, лингвистический, а часто и литературный источник. И он должен храниться в государственном учреждении — в библиотеке, архиве или музее. Здесь он будет всегда доступен ученому, здесь его будут хранить и реставрировать специалисты.

Традиции археографических экспедиций родились не сегодня. Знаменитые археографы, нашедшие сотни замечательных рукописей, жили и в XIX, и в XVIII веке, и еще раньше. Я думаю, что такие экспедиции будут снаряжаться и впредь десятки и десятки лет. Сокровища нашей культуры, которые еще неизвестны науке, должны быть найдены. Они стоят этого!

И поэтому карта археографических находок — результат всех экспедиций — рассказала бы о многом...

А пока мы не знаем, где самые богатые культурные клады были найдены, а где — будут. Но я уверен в одном: сколько бы находок ни было, на такой карте довольно крупным значком будет обозначен Касимовский район Рязанской области...

На обычных сегодняшних картах Касимов вообще не обозначен. И это не удивительно: несмотря на свое громкое историческое прошлое, сейчас Касимов — скромный, маленький районный городок, ничем особенным ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве не выдающийся. Но сколько рукописных кладов здесь найдено за последние годы!

Археографы считают удачной экспедицию, когда за месяц — два, исходив пешком десятки километров, поговорив с сотнями людей, они находят 20 — 30 рукописей, особенно старых (XV—XVI веков). А экспедиция в Касимов за две недели сумела собрать несколько сотен рукописных книг...

Касимовскими первооткрывателями были доцент Казанского университета Шамиль Мухамедьяров, работник университетской библиотеки Абрар Каримуллин и аспирант Миркасим Усманов. В июле — августе 1964 года они облазили весь Касимов и близлежащие деревни. Наверно, не осталось ни одного старожила, с которым они не познакомились бы...

Когда археографы вернулись в Казань и рассказывали о своих находках, я не совсем верил им. Думалось — преувеличивают... Неужели нашли столько рукописей, что не смогли довезти сами? А они, довольные, посмеивались.

— Увидишь...

И вот примерно через месяц пришли отправленные малой скоростью два огромных ящика. Открывали мы их с трепетом: ведь они были полны рукописями. И какими!

Вот две юридические рукописные книги — бумага покоричневела и обветшала, но четкая арабская вязь читается совершенно свободно. Самое начало XIV века. А потом — пошло: пятнадцатый век, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый... Настоящий клад: рукописные книги на арабском, персидском, татарском языках самых разных периодов.

Полного отчета о том, что привезено из Касимова,

нельзя дать еще и сейчас: изучение рукописных книг продолжается. Это — дело не одного десятилетия...

В 1966 году археографы поехали в Касимов вторично. И снова вернулись не с пустыми руками, снова интереснейшие находки: юридическая татарская рукопись 1630 года, сборник со стихами известного татарского поэта Г. Утуз-Имени, еще один сборник — с произведениями Машраба, Андалиба, Наббати и знаменитой поэмой Саяди «Дастани Тахир и Зухра», списки которой встречаются чрезвычайно редко...

Касимовские находки имели одну очень интересную особенность: рукописи здесь находили целыми библиотеками. И их владельцы, понимая ценность и своеобразие своих уникальных собраний, с удовлетворением передавали их археографической экспедиции Казанского университета.

Мне самому не пришлось принимать участие в тех экспедициях. Я только смотрел на привезенные рукописи, восхищался и думал: а какой же это город Касимов, где буквально на каждом шагу сама история останавливает тебя, где исследователя ожидает столько находок, что об этом и не мечталось?

Очень хотелось посмотреть на такой город своими глазами, хотелось самому увидеть тех людей, что сохранили эти рукописные книги.

Иногда желания сбываются: мы — в Касимове. Мы — это работники Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского и киногруппа Казанской студии телевидения. Наша задача — заснять тех людей, которые сохранили для нас бесценные культурные сокровища, показать старинный Касимов — город одновременно русский и татарский во все века своего существования, а потому и очень своеобразный — и в архитектуре, и в обычиях, и в традициях...

Касимов встретил нас не по-осеннему солнечно. На высоком и холмистом берегу Оки золотели купола стройных церквей; строгим, суровым и немного асимметричным шпилем вонзался в небо минарет мечети (кстати, этот минарет, вероятно, древнейший на европейской территории нашей страны — он построен в 1470 году); пузатые, с обязательными колоннами торговые ряды (в них и сейчас расположены магазины) напоминали о купцах из пьес Островского, резные наличники,

причудливые балконы — каждый дом заставлял смотреть на него с уважением...

Бывают города, которых будто не коснулось дыхание времени. Они как бы застыли и сохранили для нас во всей нетронутости облик прошлого. Такие города — как волшебная сказка: в них можно потрогать наощупь прошлое, перенестись на десятки лет назад... Именно таким живым памятником нашей старины встал перед нами Касимов. В него нельзя было не влюбиться сразу: уж больно он был своеобразен и красив.

Сумрачно переливалась широкая Ока, пахло яблоками и грибами (и то, и другое здесь продают в основном только ведрами). Улицы были тихи и малолюдны, на базаре количество продающих явно превышало число покупателей. Было обыкновенное касимовское воскресенье. Люди никуда не спешили...

Спокойный и размеренный касимовский ритм не вполне соответствовал срокам нашей командировки. И поэтому в первый же вечер мы поспешили к Фарханас Фаттахутдиновне Башировой — хранительнице самой большой в Касимове библиотеки рукописных книг.

Часть ее библиотеки, наиболее ценная, находится сейчас уже в Казани. Это — десятки рукописей (среди них много литературных сборников со стихами Г. Утуз-Имени, Г. Курсави, Г. Ялчигула), ценнейшие революционные реликвии — печатавшиеся в Касимове в 1917—1918 годах на стеклографе журналы «Чалгы» («Коса») и «Тан» («Заря»), редчайшие татарские книги (в том числе первый комплект одного из самых интересных татарских журналов «Шура» за 1909—1918 годы).

Нам открывает калитку приветливая и очень подвижная, несмотря на свои годы, женщина. На плечи накинут пуховый платок.

— Здравствуйте. Вы откуда?

— Здравствуйте. Мы из Казани, приехали к вам...

И уже плавно течет беседа — будто бы знакомы 100 лет. Я внимательно всматриваюсь в сухощавое энергичное и оживленное лицо Фарханас Фаттахутдиновны и думаю: неужели ей уже 73 года?

Это была удивительная семья — семья просветителей, собирателей книг и рукописей. Рукописи собирал дед Башировой, рукописи собирали ее отец — касимовский учитель Фаттахутдин Садретдинович Баширов и его жена

Шамси-Меневер. Любовь к книге сохранили и дети Баширова — Фарханас Фаттахутдиновна, ее сестра и брат. В самые трудные годы у них никогда не возникало мысли о том, чтобы продать хотя бы одну рукопись или книгу... Наоборот, в этом доме продолжают покупать книги: рядом со старыми кожаными переплетами легкомысленно выглядывают яркие корешки современных подписных изданий. Везде журналы, книги...

— Фарханас Фаттахутдиновна, как вы смогли сберечь библиотеку?

— А можно ли было не сберечь? Ведь это — жизнь отца, деда... Ведь это — книги!

И она рассказывает об отце, учителе по призванию:

— Маленький дом был у нас тогда. Две комнатки и кухня. В одной все мы жили, а в другой отец школу открыл. В 1898 году — вон как давно! А я с десяти лет ему помогала. Читать ребятишек учила...

Фарханас Фаттахутдиновна продолжила и другое дело отца — учительство. С десяти лет она помогала отцу, учила ребятишек читать. В 1910 году окончила летние курсы Бобинского училища и с 15 лет работала учительницей. Сначала в «домашней» школе, потом — в земской. После революции она — среди организаторов советской школы, преподает татарский язык, литературу, методику в педучилище.

Возвращаемся в гостиницу мы ночью. Небо в горстях звезд, прохладно. Кинооператор Кирилл Аристов довольно замечает:— Завтра солнце будет...

Солнце не обмануло нас, и утром мы снова были у Башировой. В основном ее библиотека расположилась на втором этаже... сарая. Скрипучая крутая лестница, стеллажи, забитые старыми книгами, сундуки, полные книг. На полу сохнут, распространяя терпкий запах, гроздья красной рябины. Совсем не заметно, что уже очень много рукописей и книг переехало отсюда на постоянное место жительства в Казань. Здесь еще столько интересного!

Жужжит камера. Сегодня, кажется, Кирилл не жалеет пленки...

А потом мы пьем чай из самовара, едим пирог с яблоками и еще долго, долго говорим. Говорим с 73-летней женщиной, сохранившей молодую душу и интерес ко всему, происходящему в мире...

* * *

И такие собиратели старых книг и рукописей в Касимове — не одни Башировы. Это учителя-пенсионеры Карим Бахтиев, Ахмед Ишимбаев, Махмуда Итакаева и многие, многие другие. Хорошо, что есть на земле такие люди, влюбленно сохраняющие наследие прошлого, понимающие его ценность. Люди, передающие нам саму историю...



ДОМ НАПРОТИВ МИНАРЕТА

Я никогда не узнал бы так хорошо Касимов, его историю, его людей, если бы не встретился с Ахмедом Мартазиновичем Ишимбаевым. Наверное, везде есть такие люди — досконально знающие свой город, влюбленные в него и жаждущие поделиться этой любовью с другими.

Приземистый, лысоватый и очень подвижный, Ахмед Мартазинович неутомимо рассказывал о Касимове, о его старине, показывал сделанные им самим фотоальбомы, в которые, кажется, втиснут каждый хоть чем-нибудь примечательный дом или улица. Здесь заседал первый совет, здесь был ревком, тут был митинг в Октябре 1917 года, это торговые ряды — они построены касимовским архитектором в XVIII веке...

— А вы не слыхали про нашу революционерку, Сагдию Булатову?

Я весь — внимание. Какое-то десятое чувство подсказывает, что сейчас Ахмед Мартазинович говорит о том, что не вошло еще ни в какие истории.

— Замечательная женщина была. Видная, красивая... Первая татарка-революционерка в здешних местах. А какая артистка!

Ахмед Муртазинович замолкает, потом начинает собираться — по каким-то общественным делам его вызвали в гороно. Хотя заслуженный учитель РСФСР не первый день на пенсии, понятие «рабочий день» имеет к нему самое прямое отношение. Однако на прощание он успевает сказать неуверенную фразу:

— Говорят, в нашем музее ее воспоминания хранятся...

Вечером, в гостинице, мне не спалось, думалось о Сагдии Булатовой. Ведь буквально все, кто ни встречался в этот день после разговора с Ишимбаевым, пом-

нят Сагдию-ханум. Ее облик обрастал все новыми подробностями: одни у нее учились, другие видели ее на сцене, третьи вспоминали, как она открывала в их деревне школу... Слишком яркий след оставила она в душах касимовцев, чтобы он мог стереться. Впрочем, если бы Сагдия Булатова жила и не в маленьком Касимове, память о ней также бы сохранилась. Бывают люди, которых не забывают... Судя по всему, именно такой и была Сагдия Булатова.

Возможно, ее воспоминания на самом деле лежат в музее? И их удастся прочитать... Это было бы настоящей удачей!

Утром я спешил в музей. Правда, и спешить-то особенно не было нужды: очень здорово, когда самым быстрым и надежным транспортом служат собственные ноги, не нервничаешь, знаешь, что за полчаса будешь в любом нужном тебе месте.

Шел я в музей, суеверно отворачиваясь от часто попадавшихся пустых ведер. В приметы смешно, конечно, верить, но уж лучше судьбу не искушать...

Музей забрался в самое старое здание города — в мечеть. Каюсь, когда я в него входил, то уговаривал себя не быть придирчивым и помнить, что это всего-навсего музей районного масштаба с его ограниченными возможностями...

Однако оказалось, что мои представления о районных музеях устарели. Во всяком случае в касимовском краеведческом музее этого самого пресловутого «районного» уровня не чувствуется. Тщательно, с любовью подобранная экспозиция — археологические находки, просто великолепная коллекция деревянных бытовых изделий, реликвии первых лет Советской власти...

Мы ходим по музею вместе с его директором Лидией Никифоровной Суворовой, решительной женщиной с хитринкой в глазах. Она от души старается, чтобы нам понравилось, показывает то одно, то другое и быстрым взглядом старается приметить — произвело впечатление или нет, на самом деле нам интересно или мы слушаем просто с вежливым любопытством. Но когда мы с энтузиазмом соглашаемся залезть на минарет по темной, узкой лесенке, круто взбирающейся между метровыми стенами из тесанного камня, а потом долго смотрим на

лежащий под нами Касимов, замерев от восторга, она убеждается — музей нас «впечатлил».

— Говорят, у вас воспоминания Сагдии Булатовой хранятся?

— Почему — говорят? На самом деле они у нас.

— Посмотреть можно?

— Минут через десять приготовим...

Лидия Никифоровна улыбается. А я хожу по залам музея и нетерпеливо жду воспоминания, о которых я ничего не знал несколько дней назад и которые сейчас так хочу прочесть...

Вот они — пожелтевшие за десятилетия длинные листы бумаги, исписанные экономной вязью арабского шрифта (тут же перевод этих воспоминаний на русский язык). И уже нет тех десятилетий, что разделяют наши жизни. Я сидел за столом и, не торопясь (не пропуская ни строчки!), разговаривал с Сагдией Булатовой. Вернее, говорила она одна, рассказывая мне о времени и о себе. А я только боялся прервать этот интереснейший монолог и пропустить что-либо...

Краткие анкетные данные: Сагдия Хасановна Булатова, год рождения — 1882, родители — учителя. В семье пятеро детей, живут бедно, а тут еще умирает отец, Сагдии исполнилось в эту пору 8 лет. «У меня было большое стремление к учебе, но школ для татар не было. Для детей жители на свои средства построили школу, но ее посещали только ребята, а девочкам учиться было нельзя. Девчат посылали в дома мулл, где их учили совсем неграмотные жены мулл. Головы детей забивали совсем ненужным законом божьим», — вспоминает о детстве Сагдия.

Типичная картина российской жизни конца прошлого века. Не надо забывать, что в Касимове, как и везде, где жили не только русские, к социальному гнету добавлялся национальный. Не даром царскую Россию называли тюрьмой народов...

Но Сагдии Булатовой удалось все-таки получить образование, с 1900 года она стала учительницей. И хотя образование получила она в традиционном мектебе — мусульманской школе, основное внимание уделявшей изучению Корана и прочих, таких же бесполезных премудростей, религиозные догмы не забили девушке голову. Отношение Сагдии к подобной школе

старого типа было совершенно отрицательным. Сагдия Булатова стала первой в Касимове учительницей нового типа, учительницей-татаркой, свободной даже от налета религиозных предрассудков. Она была педагогом-просветителем, думающим о настоящем образовании народа.

«Я... ненавидела богачей и мулл из-за их враждебного отношения к образованию детей..., в свободные от учебы дни, собрав родителей учеников, в меру своих сил я знакомила их с жизнью и тяжелыми условиями...». Молоденькая учительница сразу завоевала авторитет своим боевым характером, простотой и особой, талантливой задушевностью, отличающей настоящего педагога-просветителя по призванию. Сагдия понимала силу и значение передовой русской мысли. Она видела, что прежде всего надо вырвать татар из-под влияния мулл, проповедовавших национализм и религиозную ограниченность. В маленьком уездном городке Касимове хранители обветшавших традиций были грозной силой. Нужно было уберечь от религиозного дурмана детей, и путь для этого был один — приобщение к передовой русской культуре.

И Сагдия Булатова начинает борьбу за обучение татарских детей русскому языку: «Я всеми силами старалась учить детей в русских школах на русском языке. В то же время я преподавала и в татарской школе. Иметь в ней русского учителя не было возможности. Все же более понятливые родители отдавали за своего ребенка по 2 рубля в месяц, поэтому удалось организовать обучение детей русскому языку в вечернее время...».

Можно представить, сколько пересудов вызывали подобные взгляды в начале века в уездном городишке... И не только пересудов! Власть имущие никогда не отличались терпимостью. Муллы, например, как пишет Булатова, обвинили ее в том, что она «разлагает детей» и «дойдет до того, что отведет детей в собор для крещения». Где им, закостеневшим в фанатизме, было понять, что для Булатовой и мусульманство, и православие были одинаково ненавистны...

Впрочем, проповеди татарских толстосумов, пытавшихся объявить Булатовой бойкот, не имели успеха: «Мои взгляды и дела как заразная болезнь распространялись среди народа. Молодежь... возвращалась ко мне.

Дни экзаменов я проводила как агитацию. Чтобы народ понял мои мысли, я заставляла детей вслух читать и декламировать специально подобранные стихи и сказки. На такого рода экзамены приходили не только родители учащихся, но почти все девушки и женщины города. Негде было сидеть, но они слушали стоя... Я часто устраивала литературные вечера. В то время музыку считали большим грехом. Несмотря на это, я научила детей петь под физгармонь, и смысл этих песен доходил до каждого слушателя...».

Я отвожу глаза от тетрадки и смотрю из окна музея на ветхий, деревянный, ничем не примечательный домишко. В нем располагалась школа, в которой учила детей Сагдия Булатова. Мечеть, в которой сейчас уютно и мирно живут музейные экспонаты, стоит в центре площади. Невдалеке от мечети стоит строение (1555 года) — гробница касимовского хана — Текие Шах-Али. А совсем рядом — школа Сагдии Булатовой. Наверное, она каждый день мозолила глаза муэдзину, поднимавшемуся на минарет, чтобы прокричать о времени очередного намаза. С ненавистью смотрели на нее и другие богатеи...

Правда, Сагдию Булатову все это особенно не трогало. Ее уже не удовлетворяла только просветительская деятельность. Пришло время настоящей революционной работы. В 1907 году в Касимов, спасаясь от ареста, приезжает ее младший брат Губайдулла. Незадолго до этого он пытался создать профсоюз приказчиков в Троицке, организовывал там собрания и митинги. Свою касимовскую жизнь брат Сагдии начинает тем, что делает гектограф и печатает революционные листовки. Распространять их помогала Сагдия...

Сагдия Булатова встает на путь революционерки. Вести революционную работу в маленьком городе, где все знают всех, было нелегко: «Открыто нельзя было выступать, но я через родителей учащихся постепенно проводила свою работу. Власти меня подозревали и допрашивали: «Чем я занимаюсь на собраниях?». Тогда я говорила, что учу женщин кулинарии».

Не только среди родителей своих учеников вела Сагдия революционную работу. Ее имя называют среди организаторов первых маевок в Касимове, среди тех,

кто увлек рабочих канатной фабрики Зайцева на забастовку, кто распространял и печатал листовки[1].

В 1916 году Сагдии Булатовой удалось создать уже настоящую революционную молодежную организацию. И революцию эта организация встретила подготовленной: сразу же начала выходить газета «Коса», печатались листовки, разъясняющие цели и задачи революции. Сагдия Булатова яростно борется с буржуазными националистами, с теми, кто обманывал народ. Митинги, демонстрации, десятки выступлений в день...

Однажды ее чуть не выбросили с балкона двухэтажного кинотеатра, где проходил особенно бурный митинг. Татарские богатеи и их прихвостни орали Сагдии:

— Среди татар нет классов! У всех должны быть одинаковые права! Все татары братья!

Помогли рабочие, которым вовремя сумели сообщить о контрреволюционной вылазке...

Я видел это здание. В нем по-прежнему идут кинофильмы, даже название кинотеатра не изменилось, оно осталось с дореволюционных времен — «Марс». Пузатый, выгнутый балкон навис над улицей. Тогда, конечно, не было асфальта...

1917—1924 годы — время кипучей (другого слова не подберешь!) деятельности Сагдии Булатовой. Она заведует школой, работает инспектором уездного отдела народного образования. «В это время в деревнях татарские школы не находились в ведении государства. Я ходила в татарские деревни, где не было школ — открывала их, проводила в школах чистку учителей...», — кратко вспоминает она.

Кажется, не было ни одной татарской деревни в Касимовском, Шацком, Елатомском уездах, где не побывала бы Сагдия Булатова. Она закрывала мечети — и открывала школы. Это было опасно, грозили расправой кулаки, но она умела находить слова, доходившие до сердца бедняков. И те всегда поддерживали свою Сагдию...

Мужает и еще один талант Сагдии-ханум — яркий, самобытный талант актрисы. Еще в 1914 году ей удалось организовать татарскую любительскую труппу. Спектакли этой труппы помнят до сих пор.

Ахмед Мартазинович Ишимбаев (он разговорился со

мной о Сагдии Булатовой после того, как я прочел ее воспоминания), никогда не забудет первого в своей жизни спектакля:

— Совсем маленький я тогда был. Мальчишка... Когда же это было-то? В 1914?... Может, и в 1915... Давно, до революции... Представляешь, спектакль для школьников! Это в Касимове-то! Я до этого не только что театра, ничего не видел... А тут спектакль! Музыка, танцы, костюмы... «Среди цветов» назывался. В доме Кострова спектакль шел. Как его Сагдия уговорила, не знаю. Но это был праздник! Для всех татарских ребят Касимова праздник! Что у меня на душе было... Будто я красивую сказку руками потрогал...

После Октябрьской революции самодеятельная труппа преобразуется в театр «Чулпан». Труппа театра колесила по деревням, ставила агитационные пьесы, зло высмеивала капиталистов, кулаков, мулл. И почти во всех спектаклях принимала участие сама Сагдия и ее дочери — Закия и Наджия.

Фарханас Фаттахутдиновна Баширова, сухонькая, живая и очень приветливая старушка рассказывает о той поре:

— Покоя никому Сагдия не давала. Я-то знаю — бессменным суфлером была. Без меня ни один спектакль не обходился. Актера еще можно заменить, но суфлера!.. И куда мы только ни ездили! Ночь, день — все равно. А как нас принимали, ждали как... И всегда организатором главным была Сагдия. Вот когда здание для театра дали, решила она электричество в него провести. Чтобы совсем как в настоящем театре было. А где материалы достанешь? 1921 год! Так она в Москву поехала, но своего добилась. Достала все, что надо.

Такой и была Сагдия Булатова — неуступчивой, энергичной, хваткой во всем. И все она успевала — в 1921 году открыла в реквизированном особняке одного богача первый в Касимове детский дом для беспризорных детей красноармейцев, сумела организовать при нем швейные и сапожные мастерские; в 1922 году собрала экспонаты и создала татарский отдел в музее...

Закрываю папку с воспоминаниями Булатовой. Хорошо, что Сагдия Булатова написала их. Они не могут не взволновать современного читателя — перед ним про-

ходит яркая жизнь интересного человека, жизнь прожитая не зря.

Я благодарю Лидию Никифоровну:

— Замечательно, что вы сохранили эти воспоминания. Знаете, мне Касимов стал еще ближе. И я еще больше полюбил его...

— Бывает. Через человека лучше видишь город...

— И эпоху...

Воспоминания С. Х. Булатовой обрывались на 1922 году. Тогда же, в самом начале 20-х годов, они и были, очевидно, написаны. В 1923 году она уехала из Касимова на работу в Москву. Как сложилась ее дальнейшая судьба? Чем она занималась в дальнейшем? Определенных ответов на эти вопросы в Касимове я не нашел. Но я увозил из Касимова адрес: Москва, ул. Землячки, д. 24, кв. 19. По этому адресу должен был жить родной сын Сагдии — Камиль Хасанович Булатов...

И вот я уже в небольшой уютной комнате. На стене большой, увеличенный портрет Сагдии. Мы сидим за столом и разговариваем с Камилем Хасановичем. Наш разговор с интересом слушают его сыновья — внуки Сагдии-ханум. Оба они уже взрослые, студенты, о своей бабушке говорят с каким-то особенным почтением, хотя почти не знают ее. В этой семье берегут память касимовской революционерки...

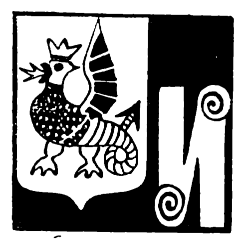
— В Рязани мать работала недолго, — рассказывает Камиль Хасанович. — С 1924 года она жила уже в Москве. Организовывала национальные детские коммуны и работала в них. Всю жизнь отдала воспитанию детей... Учительница она была. И это в ней — главное.

Мы замолкаем. И каждый из нас думает о Сагдии Булатовой. Камиль Хасанович, его сыновья... Думаю о ней и я. О том, что я должен обязательно написать об этой простой татарской женщине, одной из тех, кто делал революцию и устанавливал Советскую власть...



Людям прошлого, казанским деятелям культуры, науки и просвещения, чьи имена сейчас незаслуженно забыты, посвящает автор этот раздел книги...

КАЗАНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ



Иногда меня спрашивают: а что может быть интересного в этих прочно забытых, часто довольно неряшливых книжечках, напечатанных в Казани в прошлом веке? Вопрос сам по себе вроде бы и справедливый. В самом деле, до высот художественного мастерства местные авторы в большинстве своем не поднимались, а потому никаких особых заслуг перед нашей литературой не имеют. Так в чем же ценность их книг?

Без них нельзя по-настоящему понять историю родного края, давнюю жизнь города, людей прошлого. Таково мое глубокое убеждение. Все мы знаем, например, что в середине сороковых годов XIX века в Казани жил Лев Толстой, что он учился в Казанском университете, что жизнь в Казани оставила заметный след и в мировоззрении, и в творчестве великого русского писателя.

Но попробуем задать себе такой вопрос: а что мы знаем о Казани сороковых годов прошлого века, той Казани, по улицам которой бродил мечтательный и не всегда еще дававший отчет в собственных поступках юноша, ставший впоследствии Львом Толстым?

Вот тут-то и пригодятся книги — современницы жизни Толстого в Казани, книги, написанные казанцами и ими же напечатанные. Тем более, что у Казани того времени был свой летописец и бытописатель — Николай Кириллович Баженов.

Тоненькие брошюрки с массой опечаток: «Прекрасный молодой человек. Повесть, взятая из рассказа штаб-лекаря Чацкого», «Плавание к Зилантову монастырю и Казанскому памятнику», «Медико-топографический взгляд на Сергиевские минеральные воды», «Торжественное примирение, или единственный муж и чудное посредничество. Шутка-водевиль»... Настоящий калей-

доскоп казанской жизни! Николай Баженов писал об истории города и его окрестностей, не чуждался этнографических и археологических наблюдений, сочинял сатирические повести и водевили, беря сюжеты из окружающей жизни.

Писатель он был, конечно, не бог весть какой, но пером владел довольно бойко, с иронией и нескрываемой насмешкой изображал местные нравы. В повести «Прекрасный молодой человек» он, например, высмеял охватившее казанское общество повальное увлечение Сергиевскими минеральными водами. «Галерея минеральных вод! — пишет Баженов.— О эта туземная выставка нравов, с самыми разными их чертами, самыми сильными оттенками провинциализма разных мест... Там заезжие игрочки ловят богатеньких простачков, доктора — больных, маменьки — женишков, а дочки — куют цепочки на какого-нибудь заезжего гвардейца, но тот надевает очки на нос мужа хорошенькой жены — и все идет вверх дном и наизнанку...» [1]

Особенно много интересных сведений о Казани в главном труде Николая Баженова — «Казанской истории». Три тома истории охватывают обширный период — с эпохи волжских булгар до 1847 года. В предисловии к книге Баженов писал о мотивах, побудивших его написать «Казанскую историю»: «Казань, сначала местечко, потом столица царства, а после один из знатнейших городов нашего отечества обращает на себя внимание... Казанская сторона... должна иметь свою собственную историю». [2]

Называет Баженов в предисловии и источники, которыми он пользовался при написании истории: исторические сочинения, татарские рукописи, народные предания.

Если первые два тома «Казанской истории» для нашего времени выглядят значительно устаревшими — и по охвату материала, и по концепциям (часто совершенно наивным) автора, то третий является незаменимым пособием для любого, кто начинает всерьез заниматься Казанью середины прошлого века. Третью часть своего труда Баженов озаглавил так: «История современная, или шести последних лет — до 1847 года, с топографическим и этнографическим обозрением Казанского края». Здесь ценно все, все почти документально, все написано на основе личных наблюдений и исследований.

Обо всем пишет Баженов: о климате, о городах губернии, о народных гуляньях, учебных заведениях, памятниках, военных и гражданских учреждениях, количестве церквей и аптек (первых в Казанской губернии в 1847 году насчитывалось 410, вторых — 4!), о промышленности, сельском хозяйстве, торговле, пожарах... Нельзя удержаться и не привести его красочного и живого описания одного из самых больших казанских пожаров — пожара 1842 года: «24 августа, в 9 часов утра загорелось на Проломной улице — в одной из гостиниц, и от вспыхнувшего надворного строения огонь при сильном ветре перешел к дому. К общему несчастию, порывистый вихрь закрутил пламенем, и могли ли человеческие усилия гасить огонь, когда раздувала его сила ветра? Скоро вспыхнули дома благородного собрания, военного губернатора и огонь распространился дальше. В это время забурлил ураган и, свивши дым с летучим прахом, во мгле их развил опустошительное пламя. Огненное море разлилось — запылали улицы Воскресенская, Покровская, Грузинская... Звон колоколов, стук и треск от езды, падений и ломки — как отголоски бедствия слились с криком, с воплем народа..., но все увенчалось шумом бури!...

Ужаснее дня был мрак ночи, когда пламенем пожара окрасилась синева вечернего неба! Тогда над морем огня ужасно застонала буря, и довершалось бедствие города! Пламя перебросилось за Булак и распространилось далее. Вспыхнул гостиный двор и все окружающее, загорелась Лядская и другие улицы, пламя расширилось до Арского поля. О силе урагана и резвости огня свидетельствовали пепелища окрестных деревень. Они горели даже за 9 верст от города, и разносимое бурею пылавшее сено горевших стогов содействовало развитию всеобщего пожара. Что же было в Казани? Люди, объятые невыносимым жаром и задыхавшиеся смрадом дыма, бежали от пылавших домов своих! Но для них не было места, потому что горели самые улицы, а от торцовых мостовых остались только уголь и пепел...» [3]

Самые различные сведения собрал Баженов в своей истории: о том, кто из артистов приезжал в Казань, что читали казанцы, были ли здесь свои художники и литераторы... А вот как выглядел городской бюджет Казани 1847 года: на содержание полиции — 15000 рублей, на

ремонт зданий полиции — 5000, на тюрьму — 2000, а на все прочее (освещение города, содержание мостов и дорог) — всего 7500! Любопытнейшие цифры, ничего не скажешь...

В книгах Баженова можно не только прочитать о старой Казани, но и посмотреть на нее: почти все свои сочинения он издавал с гравюрами, которые делали местные художники. Особенно хороша гравюра с общим видом на город со стороны Казани во время разлива (художник Евт. Смирнов, гравер П. Табуре). Она бы украсила любой путеводитель по Казани, изданный даже в наши дни...

Остается сказать несколько слов о самом казанском летописце — Николае Кирилловиче Баженове (1804—1848). Он заслуживает этого.

По специальности Баженов был врачом, или «лекарем», как написано в его свидетельстве об окончании Московского университета в мае 1825 года. Начинал службу он на родине — в городишке Одоеве Тульской губернии. Служба шла тихо и мирно, но... случилось молодому врачу освидетельствовать труп запоротого насмерть крепостного крестьянина Федорова. Быстрое и пустячное по тем временам дело, простая формальность. Баженов же поднял шум, нарушив все правила «хорошего тона», и записал в протокол: «Федоров умер от истязаний».

Началось уголовное судебное дело. И кончилось оно, конечно, не в пользу борца за справедливость. Помещик, удивленный, что «из-за таких пустяков» его беспокоят, приехал в Тулу и кое с кем поговорил. Этого было достаточно, суд решил: одоевского городового врача Николая Баженова «за неосновательное свидетельство о смерти дворового человека Федорова, нерадение к службе и неприличные званию дворянина поступки удалить от должности»[4].

Так, в 1829 году Баженов в первый раз потерял работу. Потом он уже привык к этому: слишком часто честный врач с передовыми взглядами приходился не ко двору. И Баженов мыкается по стране: Олонецкая губерния, Новгород (почему его уволили в этот раз, мы не знаем, но увольнение совпало со временем холерных бунтов, когда масса людей погибла не столько от холеры, сколько от шпицрутенов...), Омск, Нерчинские горные

заводы, снова Одоев, Симбирск... 3 января 1844 года Баженов приезжает в Казань на должность штаб-лекаря порохового завода.

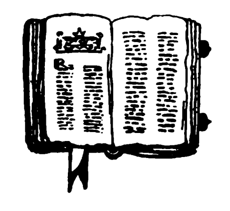
Начинается самый интересный период жизни Н. К. Баженова. Все больше времени он уделяет литературным и историческим занятиям. Одна за другой выходят в свет его брошюры (даже написанная по сибирским впечатлениям книга «Две поездки Николая Баженова. I. Поездка на золотые прииски. II. Поездка на Кондую» была издана только в Казани). В 1847 году был напечатан (наполовину в долг!) и главный его труд — «Казанская история». Она-то и принесла Баженову новые беды...

О «Казанской истории» заговорили не только в городе. Подробную (на 10 страницах) и благожелательную рецензию на книгу публикует «Современник» [5]. Начальство всполошилось: книга-то написана и издана без всякого разрешения и одобрения! И кем? Лекарем военного порохового завода...

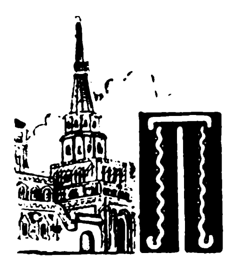
Командир завода генерал-лейтенант Тебеньков тут же подписал приказ: Николая Баженова «немедленно уволить из военного ведомства для определения к другим делам». «Другими делами» оказалась служба чиновником в губернском правлении... без жалованья. Для семьи Баженова, оставшейся совершенно без средств к существованию, приходят дни нищеты.

Но и тут Баженов не сдается. В холерный 1848 год он бесплатно помогает тем, кому особенно нужен — казанской голытьбе. Каждый день видят его и в Ягодной слободе, и в холерном бараке на стекольном заводе. И умер-то Баженов на посту, заразившись холерой. До последнего дня жизни он работал...

Когда узнаешь эту грустную историю жизни Баженова, с каким-то особенным чувством читаешь его книги. Ведь их автор заслуживает искреннего сочувствия и внушает полное доверие.



ИЗГНАН ЗА КНИГУ



Перелистав этот альбом с великолепно выполненными, выразительными литографиями, нельзя не полюбить старой Казани. Нельзя не почувствовать своеобразия архитектурного облика этого города тридцатых — сороковых годов прошлого века с его башнями, шпилями церквей, крепостью, игрушечно украшенными домами трех главных улиц, оживленными базарами и гостиным двором. Будто видишь ту далекую Казань, ходишь по ее улицам, смотришь на дома, которые еще никому тогда не приходило в голову называть холодноватым словом «архитектурные памятники».

...Башня Сююмбеке с ее строгими, врывающимися в небо формами и в то же время с какой-то, словно вышедшей из легенд романтической недоговоренностью. Башня разрушается, ее очертания мягки. Провалившаяся в землю надгробная плита, о чем-то оживленно беседуют старики...

...Сибирская застава. Колоннада ворот печально знаменитого Сибирского тракта при въезде в Казань от Арска. Спешащие всадники, перелесок... Кстати, эта литография имеет особую историческую ценность — как единственное изображение въездных казанских ворот. По этому тракту гнали в Сибирь ссыльных. Видели эти ворота те рядовые солдаты, что поверили в 1825 году в правду борьбы и вышли на Сенатскую площадь...

И таких литографий, о каждой из которых можно долго и восторженно рассказывать, в альбоме 15. Вид всей Казани во время наводнения... Кафедральный собор в крепости... Вход в крепость... Внешняя стена крепости... Вид всей крепости... Петропавловский собор... Казанский монастырь... Башня в гостином дворе... Татарская соборная мечеть... Воскресенская улица... Вид на Зилантову гору...

Казань на этих литографиях живет. Здесь не просто окаменевшие в неподвижности здания, церкви и башни. На всех рисунках присутствуют люди, которые жили, работали и мечтали в этом городе. Они одушевляют для нас старый, замерший на рисунках город. Пастух-татарин, лихой гусар в пролетке, два простолюдина у телеги, задумавшийся чиновник, рыбаки в лодке, отдыхающие офицеры, оживленная толпа на улице... Именно такой была та, ужасно далекая от нас Казань. И сохранил нам ее облик художник Эдуард Турнерелли.

Англичанин Эдуард Турнерелли (1813—18?) приехал в Казань вечером 20 июля 1837 года. За плечами двадцатичетырехлетнего иностранца было всего несколько месяцев жизни в России: только в 1836 году он покинул родную Ирландию и прибыл в Петербург. Купеческий сын получил довольно хорошее образование и легко выдержал экзамен в Санкт-Петербургском университете: «оказал в английском языке очень хорошие и в латинском языке хорошие сведения, сверх того, в присутствии испытателей с успехом дал пробную лекцию на английском и латинском языках» [1]. Турнерелли получил диплом домашнего учителя и почти тут же был назначен лектором английского языка в Казанский университет.

Что знал англичанин о Казани? Абсолютно ничего, его представления были полны нелепостей и весьма характерно отражали тогдашние взгляды на Россию среднего, даже образованного иностранца, никогда в ней не бывавшего. Турнерелли сам признавался в этом: «Читатель, если вы иностранец, и в особенности один из тех иностранцев, которые никогда не посещали этих краев, то представления, которые у вас должны составиться о Казани, наверное, очень не совершенны, если не совсем дики.

Вы предполагаете, без всякого сомнения, что ее жилища — хижины, ее обитатели — дикари, их пища — конина и самое грубое растительное масло; крысы и змеи — их сотрапезники и, наконец, бродячие татары — их опасные посетители.

Вот, приблизительно, ваше мнение о Казани!

И надо в этом признаться, такое мнение было и моим — перед тем, как судьба забросила меня в этот город...» [2].

Но вместо ожидаемого жалкого зрелища — красивый и своеобразный город с университетом, гимназией, Кремлем, торцовыми мостовыми на центральных улицах. К тому же в тот вечер, когда Турнерелли приехал в Казань, город был особенно разукрашен и даже иллюминован: губернское начальство старалось показать товар лицом: как-никак в Казань приезжал великий князь, наследник российского престола...

На не знавшего русского языка и потому вначале ничего не понимавшего Турнерелли народное гулянье, иллюминация и маскарад произвели впечатление какого-то волшебства и очаровали его. Лектор-англичанин увидел вокруг себя разноязыкую толпу: татары, русские, персы, армяне, турки, поляки, французы, немцы... Еще не понимая города, он уже полюбил его и называл не иначе как «Восточной столицей».

С первых же дней пребывания в Казани Турнерелли увлекся историей края, его этнографией, архитектурой. Уже в год прибытия (1837) он предпринимает поездку в Болгары. Он добирался туда в крытом досчанике, отплывшем от стен Кремля, по Казанке. Сопровождал Турнерелли в это небольшое путешествие один человек — слуга и повар Феофан.

За три дня, делая небольшие остановки — в Верхнем Услоне, на Гостином острове, в Тетюшах и Ага-Базаре,— досчаник доплыл до Болгар. В Болгарах Турнерелли сделал несколько рисунков, из которых сохранились сейчас два — Черная палата, с двумя ветряными мельницами по бокам и вид на Большой минарет и развалины усыпальницы. Эти рисунки — первые результаты увлечений живописью, возникшего у Турнерелли в Казани.

О том, как проходила преподавательская работа Турнерелли в университете и гимназии, никаких заслуживающих внимания материалов нет. Очевидно, он более или менее успешно учил студентов и гимназистов английскому языку. Но гораздо интенсивнее Турнерелли занимался живописью. Он изучает книги по истории Казани, сближается с местными историками. Появляются все новые и новые рисунки. И уже через два года рисунков набирается достоточно, чтобы подготовить специальный альбом.

В 1839 году Турнерелли едет в Англию. Там-то и делались литографии с его рисунков, в Лондоне в 1840

году был напечатан этот альбом — «Виды Казани, рисованные с натуры», с которого я и начал рассказ о деятельности и жизни Турнерелли. Альбом действительно великолепен: большие литографии (35 на 50 *см*), высокое качество печати, талантливые рисунки, прекрасная бумага...

Альбом был очень хорошо встречен читателями в Казани, Петербурге, Москве. О художнике Турнерелли заговорили, его имя сразу стало известным. Несмотря на довольно высокую цену — 16 рублей серебром — альбом очень быстро разошелся и скоро стал представлять большую редкость. Замечательный знаток книги В. А. Верещагин писал об альбоме Турнерелли уже в конце XIX века: «Издание весьма изящное и редкое» [3]. Мне известен только один такой полный альбом, со всеми литографиями, хорошо сохранившийся — он находится в университетской библиотеке.

Запечатлев Казань кистью художника, Турнерелли не успокоился и решил изобразить ее еще раз, прибегнув для этого к писательскому перу. В 1841 году, в Петербурге выходит его небольшая книжечка на французском языке: «Казань и ее жители. Эскизы исторические, живые картины и описания Эдуарда Турнерелли, автора рассказов о рыцарстве Рейна, крестовых походах и крестоносцах».

Надо прямо сказать, что если альбом Турнерелли — художника принес ему известность и успех, то его писательский дебют в России ничего кроме неприятностей автору не дал. В живо написанной, увлекательной и правдивой книжке зарисовок и впечатлений казанское светское общество увидело клевету на Казань и казанцев. Дворянские гостиные, где только что университетский лектор английского языка был самым желанным гостем, резко отвергли его как нарушителя общепринятых приличий, за спиной Турнерелли начались пересуды и сплетни. Наконец, в 1843 году, единственная городская газета — «Казанские губернские ведомости» печатает в трех номерах длиннейшую рецензию на злополучную книгу [4].

В чем же обвинил Турнерелли автор рецензии, редактор «Казанских губернских ведомостей» Н. И. Второв? Вот заключение строгого критика: «Чтобы дать ему (сочинению Турнерелли — *В. А.*) надлежащую оценку,

мы спросим: достигает ли оно цели, высказанной автором в начале его — дать сколь возможно верное понятие о Казани иностранцам? Само собой разумеется, что мы должны отвечать на этот вопрос почти отрицательно. Не говоря уже о беспорядочном расположении предметов, оставляющем в голове по прочтении книги г. Турнерелли что-то безотчетное, неопределенное, множество ошибок, рассеянных почти по всему сочинению, до того затмевают истину, что понятие о Казани не только не проясняется, но еще более становится сбивчивым.»[5]

Все вызывает раздражение рецензента: неточности в описаниях исторических событий, живой и образный стиль Турнерелли, язык его сочинения. Н. И. Второв издевается над описанием казанского климата, сделанным Турнерелли, иронизирует над его пейзажами... Чувствуется, что тон рецензии вызван не этими обстоятельствами, не недостатками книги, а чем-то другим.

И это «другое» становится ясным, когда редактор газеты начинает с жаром «защищать» казанское светское общество от обвинений Турнерелли: «Что подумают о наших жителях иностранцы, для которых написана книга г. Турнерелли? Может ли быть что пустее, бездушнее такого общества, какое изображает автор?

Как бы то ни было, мы почитаем себя обязанными сказать несколько слов в защиту нашего общества, хотя, собственно, подобные вещи и не стоят возражения; принявшись рассматривать сочинение г. Турнерелли, молчанием своим в этом случае мы могли бы подать повод думать, что соглашаемся с ним. Мы не будем говорить, что наше общество вовсе не таково, каким изображает его автор; мы даже повторим слова его, что действительно у нас часто бывают балы, собрания, маскарады, и что у нас любят эти удовольствия, что действительно у нас водится в обыкновении разъезжать с визитами по праздникам и с поздравлениями на именины..., что действительно многие жители наши чересчур гостеприимны, что у нас также, нечего греха таить, много играют в карты и пр. и пр. Но неужели все это составляет исключительные свойства и занятия нашего общества? Неужели общество наше не имеет никаких других добрых сторон, которые бы ставили его на ступень более достойную? Неужели кроме любви к балам, собраниям, обедам да кар-

там обществу нашему чужда любовь к другим, более благородным предметам?»[6]

Хвалебный панегирик казанскому обществу продолжается в рецензии еще несколько абзацев. Турнерелли припоминаются все грехи — самонадеянность, незнание русского языка, поверхностность казанских впечатлений, даже желчность характера!

Так вот в чем вина писателя! В том, что он правдиво, без почтительности изобразил жизнь, нравы и интересы светского общества Казани... Что же, светская чернь никогда не пользовалась уважением в русской литературе. И если Турнерелли действительно так описал казанских дворян, это только достоинство его книги...

Впрочем, пора перейти от рецензии к самому сочинению Турнерелли. На русском языке оно никогда не публиковалось, мне известен только один, не вполне полный и довольно слабый в литературном отношении рукописный перевод книги «Казань и ее жители», сделанный в 1940 году Н. Щанкиным[7]. По этому переводу я буду приводить цитаты из книги Эдуарда Турнерелли.

«Казань и ее жители» написана в свободной манере, исторические очерки о самых занимательных страницах прошлого Казани перемежаются с картинами настоящего, живыми впечатлениями, полудневниковыми записями. Основные главы книги: «Общий взгляд на Казань», «Город-котел», «Иван Грозный и его воины», «Великая затея», «Казань», «Прогулка по Казани», «Стиль казанской жизни», «Нелепости климата», «Университет и его профессора», «Башня Сумбеки».

Главы, посвященные прошлому, не представляют из себя самостоятельного труда: это вольный пересказ известных исторических сочинений и народных русских и татарских легенд. Гораздо интереснее и ценнее та часть книги, которая навеяна непосредственными казанскими впечатлениями Турнерелли.

Нужно прямо и сразу сказать, что никакой клеветы на Казань в книге Турнерелли нет. Напротив, в ней сквозит уважение к окружающему и желание его понять: «Казань... представляет из себя весьма замечательный город. Путешественник, любитель древностей, архитектор найдут тут обширное собрание очень интересных материалов... Вот крепость со своими высокими стенами, со своими круглыми башнями и с интересными

величественными зданиями татарской архитектуры. Вот Гостиный двор, здание почти колоссальное, со сводчатыми галереями и многочисленными магазинами. Вот, наконец, университет, обширное и внушительного вида здание, размеры и архитектура которого превосходят здания Петербургского и Московского университета...»[8]

Турнерелли даже изображает Казань лучше, чем она есть. Парадная, внешняя сторона жизни, восхищавшие его, закрыли для него многое, далеко не привлекательное в суровой действительности николаевской России. Однако в наблюдательности писателю-художнику не откажешь, и, благодаря ей, мы имеем живые и точные описания Грузинской, Воскресенской, Проломной улиц, Гостиного двора, Булака, Черного озера, Кремля, Кузнечной площади... Эти описания — а в них очень чувствуется глаз художника, неравнодушно относившегося к Казани, — очень рельефны. Одних этих картин, сохранивших облик города, достаточно, чтобы относиться с уважением к книге «Казань и ее жители».

Одна из самых интересных глав книги посвящена университету. Турнерелли подробно описывает сам университет, обсерваторию, клинику, библиотеку, нумизматический кабинет, с большой теплотой и уважением пишет об университетских ученых — Н. И. Лобачевском, И. М. Симонове, Ф. И. Эрдмане, О. М. Ковалевском.

Резко меняется стиль Турнерелли, когда он переходит от описания самого города к изображению жизни и нравов светского общества. Восхищение переходит в иронию, иногда даже совсем не замаскированную. Турнерелли правдиво изображает пустоту и бессодержательность «светского образа жизни»: балы, постоянные карты, пристрастие к обедам и ужинам, бесконечным визитам. Но казанскому высшему свету посвящена только одна глава. Эта-то глава и вызвала толки, пересуды и несправедливую рецензию Н. И. Второва...

Вскоре после опубликования рецензии—в 1844 году— Турнерелли был вынужден переехать в Петербург, а вскоре и вообще уехал из России. К казанским впечатлениям он вернулся только один раз: в 1854 году в Лондоне вышли два тома его воспоминаний: «Россия на границе Азии. Казань, древнейшая столица Казанского ханства». Воспоминания Турнерелли перемежаются с историческими описаниями, этнографическими и стати-

стическими наблюдениями. Эта его книга до сих пор не потеряла научного значения.

...Я смотрю на фотографию Турнерелли 1888 года. Живой, пытливый, совсем не стариковский взгляд. Роскошная борода, профессорская шапочка, пенсне... Таким он стал через 44 года после отъезда из Казани.

И очень досадно, что Турнерелли прожил в России только шесть с небольшим лет, что его буквально «выжили» из Казани. Ведь талантливый англичанин по-настоящему влюбился в Казань. И если бы он прожил здесь дольше, мы могли бы сейчас иметь книги, которые остались ненаписанными, и рисунки, которые он не сделал...



СИБИРСКИЙ КАЗАК СЕМЕН ЧЕРЕПАНОВ

Трем дням, проведенным в Казани А. С. Пушкиным, посвящено немало литературы. Даже о казанских домах, в которых побывал великий поэт есть отдельная брошюра. К тому же почти к каждой юбилейной пушкинской дате появляются статьи в газетах, которые, правда, нового ничего не сообщают, но еще раз напоминают о том, где бывал А. С. Пушкин, когда приезжал в Казань, с кем встречался, что видел, какие впечатления увез с собой...

И это очень хорошо. История культурной жизни Казани богата и интересна, она заслуживает того, чтобы ее знали, исследовали. Но как-то получается так, что о своих местных литераторах, музыкантах, артистах, которые жили в Казани, работали здесь и играли значительную роль в общественной жизни Поволжья, мы часто знаем до обидного мало. А иногда даже забываем их имена...

К числу таких, незаслуженно забытых имен относится и имя Семена Ивановича Черепанова (1810—1884), журналиста и литератора по профессии, демократа-разночинца по убеждениям.

Сведения о нем мне пришлось собирать по крохам: в старых газетах, журналах, в собственных его рукописях, сохранившихся до наших дней.

Родился Черепанов в 1810 году в крепости Кударинской в самой глуши России — на окраине Восточной Сибири, в семье мелкого чиновника, получавшего в год всего 5 рублей жалованья. Биография Черепанова изобилует крутыми поворотами. То он скромный подкан-

целярист в Троицкосавске, то казак, мотающийся по различным поручениям от Иркутска до Кяхты. Вместе с охотниками-бурятами Черепанов в Саянах открывает Ботогольское месторождение графита. Он знакомится с бытом и жизнью монголов, бурятов и других сибирских народностей, странствует с охотниками и купцами по Сибири и Монголии, становится старателем — ищет на свой страх и риск золото...

Духовное рождение Черепанова относится ко времени его посещения Петровского завода. Это, казалось бы, незначительное событие перевернуло всю его жизнь: на Петровском заводе казак Семен Черепанов познакомился и близко сошелся с находившимися здесь на каторге декабристами: Александром Якубовичем, Николаем и Михаилом Бестужевыми, Артамоном Муравьевым, Ипполитом Завалишиным, Сергеем Трубецким, Александром Поджио и попавшим в Сибирь еще раньше декабристов Владимиром Раевским, кишиневским другом Пушкина. Совершенно несомненно, что именно под влиянием декабристов и складывались взгляды и убеждения Черепанова, формировалось его мировоззрение.

Правдами и неправдами Черепанов задерживается на Петровском заводе на несколько месяцев. Он проводит с декабристами почти все свое время, жадно слушая каждое их слово. В своих воспоминаниях, написанных намного позже, он говорил, что Петровский завод составил для него «нечто похожее на академию или университет с 120 академиками, или профессорами, напичканными многосторонними познаниями, которыми охотно делятся...» [1]

Николай Бестужев одобрил литературные опыты молодого сибиряка, сказав, что его зарисовки сибирской и монгольской жизни уже сейчас могут быть напечатаны. Черепанов утверждается в мысли, что его призвание — литература и решает стать журналистом. А в те годы эта беспокойная и хлопотливая профессия не гарантировала даже прожиточного минимума...

Первым опытом журналистской деятельности Черепанова стала сатирическая рукописная газета, которую он издавал в Тунке. Экземпляры этой рукописной газеты распространялись не только в маленькой Тунке, Черепанов посылал свою газету в Иркутск и некоторым декабристам. Зарисовки Сибирского казака (такой

псевдоним выбрал себе Черепанов) начинают появляться на страницах столичных журналов и газет.

Так простой казак Семен Иванович Черепанов стал профессиональным литератором, журналистом. В 1847 году он уезжает из Сибири. Москва, Петербург, Нижний Новгород... Черепанов часто меняет место жительства. Меняет по необходимости: начальство не стремилось держать на службе независимого, демократически настроенного журналиста, а на гонорар нельзя было прокормить даже себя, не говоря уже о семье. С горечью и в то же время гордостью за выбранный путь и прожитую жизнь пишет Черепанов 17 января 1866 года в дневнике: «В длинное время, 20 лет, моей корреспондентской деятельности жил я в разных городах России и Сибири, от Кяхты до Петербурга, и смею позволить себе право сравнить себя с неким провинциальным светилом, постоянно освещающим в эти 20 лет разные емные углы и уголки нашего отечества посредством писем в газеты, число которых, разумеется только напечатанных, превышает 500... Был гоняем из города в город и, наконец, подвергся выгонению из службы за попытку осветить очень уж темный угол... Но... не бросаю своей горькой профессии, а напротив, став свободным и независимым, еще более расширяю круг своей деятельности»[2].

Эти строки Черепанов написал уже в Казани, где провел свои последние 20 с лишним лет. Казань стала его второй родиной. Здесь удалось ему опубликовать некоторые свои произведения отдельными книгами: в 1862 году выходит в свет брошюра «О наградах и наказаниях», в 1864 — «Прозаическое послание к русским женщинам», в 1868 — «Путелетатель и его письма». Здесь в Казани, он получил, наконец, признание и известность среди передовой, демократически настроенной интеллигенции.

Из беллетристических произведений Семена Черепанова наиболее удачной, пожалуй, оказалась книга «Путелетатель и его письма, переведенные нижеподписавшимся. Выпуск 1-й. Обозрение России с птичьего полета». Книга эта представляет собой сборник сатирических очерков, посвященных большим и маленьким городам России и написанных в своеобразной форме фантастических впечатлений, которые могут возникнуть лишь

при обозрении русской действительности «с птичьего полета».

Не могу удержаться, чтобы не процитировать письмо о Казани: «Возрадуемся, любезный друг! Наконец-то, кажется, увидел я город, в том значении слова, как мы его понимаем. Это знаменитая Казань. Что за обширность, что за строения, что за улицы — великолепие да и только... Все улицы покрыты блестящим макадамом буроватого цвета, освещаются, должно полагать, электричеством, или переносным газом, ибо противных фонарей и столбов для них почти не видно. Здания большею частью возведены не для одного только житья, а с более высшими целями, как-то: для развития наук и искусств, управлений как военного, гражданского и духовного, частию даже есть в самом центре города богадельни, больницы, монастыри, тюрьмы, казармы и есть еще центральный дом для умалишенных... Только одно меня несколько смущает, почему вижу я большую пустоту в этих полезных зданиях, особенно назначенных для развития наук и искусств? Но вместе с тем с удовольствием вижу эту пустоту и в доме для умалишенных, какой от души желал бы богадельням, больницам... и тюрьмам...

Некоторые части города построены посреди самой воды, подобно Венеции, по улицам плавают в лодках и чрез них перекинуты мостики... Но всего замечательнее введенный порядок утоления жажды жителей самою чистою водою. В необыкновенном множестве устроены для этого по всему городу помещения, где чистейшая вода содержится в стеклянных сосудах и жители заходят туда выпивать этой освежающей влаги по стакану или более, или взять на дом...»[3].

И, словно боясь, что читатель не казанец не поймет уничтожающую иронию этого письма, Семен Черепанов снабжает его едким примечанием: «Здесь мы, скрепя сердцем, должны сказать, что почтенный автор писем впал в крайнее заблуждение. Вероятно, он смотрел на Казань весною и наше разливанное море грязи принял за блестящую мостовую из макадама, весенний разлив Волги — за устроенную городскую гавань, городские лужи — за резервуары: а что всего курьезнее, так это то, что он наши бесчисленные кабаки принял за водохранилища... Не знаем, почему только нашел автор писем пустоту в наших учебных заведениях, не было ли это

вакантное время? Или, пожалуй, с его точки зрения не все, наполняющие учебные заведения личности, казались ему идущими к своей цели, почему он и не принял их в счет... Что касается до дома умалишенных, то он еще не открыт для посетителей, а когда откроется, то верно не замедлит наполниться...»[4]

Такую же резкую оценку получает у Черепанова вся русская действительность с ее бюрократической системой, душащей живую мысль, с ее бескультурьем и самодурством. Он с болью пишет о богатстве Сибири, ее потенциальных возможностях — с одной стороны, и жалком настоящем этого богатого края — с другой: «Что это такое? Собрание самых обыкновенных лачуг с грязными и неосвещенными улицами!... Храмов наук и искусств и тени нет; училищ, соответствующих действительной потребности, не видно, музеев тоже, — и все развитие, все проявление неимоверного богатства, переход из недр земли десятков тысяч пудов благородного и драгоценного металла — выразилось в нескольких десятках, а пожалуй, и сотнях кабаков!»[5]

Во всех опубликованных произведениях Черепанова видишь острую наблюдательность, живость мысли и, главное, душу человека, постоянно думающего о простом, бедном люде. К сожалению, многие его планы и замыслы не осуществились: большинство своих произведений Черепанов так и не смог напечатать, они остались в рукописях. А ведь Семен Иванович мечтал об издании собрания своих сочинений. Был даже сделан первый шаг к выполнению этой мечты: в 1868 году он объединил под одной обложкой три вышедшие до этого свои книги («О наградах и наказаниях», «Прозаическое послание к русским женщинам», «Путелетатель и его письма»). Заглавие получившегося первого тома собрания сочинений было очень оригинально: «Черепки сочинений, переводов и изданий в стихах и прозе Семена Ивановича Черепанова. Часть I. «На обложке книги был напечатан и проспект: что будет включено в следующие части. Но дальше первого тома дело не пошло: не было средств. При жизни Черепанову удалось издать еще только одну брошюру: «Отрывки из воспоминаний, напечатанные в «Древней и новой России» (Казань, 1879).

Но ведь к этим четырем тоненьким брошюрам надо прибавить сотни заметок, корреспонденций, статей, опуб-

ликованных в десятках газет и журналов разных городов. Если собрать вместе, например, все статьи, написанные Черепановым в Казани, то получится пестрая, яркая и довольно полная картина жизни города, написанная рукой не равнодушного наблюдателя, а человека, обличавшего любые формы произвола и угнетения. В дневниковой записи Черепанова от 17 января 1866 года есть такое совершенно справедливое замечание: «В течение последних четырех лет я корреспондировал из Казани в четыре газеты и мог бы смело сказать, что письма мои составляют полную казанскую летопись, если бы редакции не делали в них значительных пропусков...»[6]

Безжалостно кромсала и урезала его статьи и цензура.

Черепанову хотелось сохранить все написанные им в полном виде, поэтому он вносил свои статьи в записную книжку, помечая на полях, где была опубликована данная статья. И эта записная книжка — «Выборки из корреспонденций 1860—1868 годов» — сохранилась, дошла до наших дней! Сохранилась и другая его записная книжка — «Черепки. Выписки, заметки, ссылки и анекдоты»[7]. Записные книжки и письма Черепанова хранятся сейчас в рукописном отделе Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского[8].

Об этих записных книжках нельзя просто упомянуть, они заслуживают подробного рассказа. Сколько здесь материала для историка или филолога, изучающего жизнь Поволжья 60-х годов XIX века!.. Вот написанный 31 мая 1861 года репортаж о поездке в село Бездну, где незадолго до этого были зверски подавлены крестьянские волнения: «На последней станции к Бездне ямщик обратился к нам:

— Может, барин, не любите звонка колокольчика, так я его не развяжу.

Распрошенный о причине этого, признался, что он это делает для того, что теперь крестьяне больно боятся колокольчика, что многих из них, особенно женщин, как заслышат звонок, так начнет «ажно кумуха (лихорадка — *В. А.*) трясти», так уж, жалеючи их, подвязываем.

За всем тем, однако же, звук этот, по обстоятельствам получивший новое неприятное значение, раздается здесь часто, так как судебное преследование происшествия

производится в самых обширных размерах, всех спрашивают, переспрашивают, кто был, кто не был, и отчего был, и отчего не был и т. д.

Единственным признаком события остался столб, у которого расстрелян главный виновник беспорядков, 26-летний крестьянин Антон Петров, которого, по пословице, худая грамота довела до пагубы... Не подлежит сомнению... отсутствие доверия народа к местным властям: на все убеждения крестьяне отвечали только просьбою: «Пусть это скажет нам царский посланник». Но он предпочел другой способ объяснения. Ему нужно было кровавое событие...»[9]

Черепанов не только посещает Бездну. В уездном городке Спасске ему удалось разыскать в больнице 20 раненых при усмирении бунта крестьян и побеседовать с ними, участниками недавних событий...

Конечно, правдивый, безыскусный рассказ о событиях в Бездне не появился на страницах российских газет: цензура не дремала. И хорошо, что мы можем прочесть его сегодня: ведь Черепанов — один из первых журналистов, побывавших непосредственно на месте трагического события...

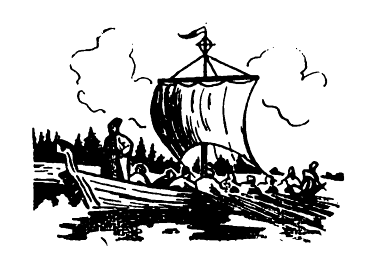
Естественно, что главное внимание в записной книжке журналиста-демократа уделяется общественному движению, приводятся разнообразные факты из жизни трудящегося люда. Возмущенная корреспонденция о приписанных к заводам пермских крестьянах, «получающих за свой тяжкий двенадцатичасовой в сутки труд 3 коп.»[10]. Горькое сообщение об ужасном голоде среди крестьян Казанской губернии..[11]. Иронический рассказ о том, как перепуганные власти приняли за Герцена совершенно постороннего человека: «В июне был даже тут Герцен, не настоящий, правда, но принятый за него сызранский помещик Толстой. К счастью губернатор знал его лично, и дело кончилось только прогулкою в Казань в сопровождении адъютанта, немца Краузе, который принял Толстого за Герцена, действительно, имеющего некоторые сходства со знаменитым агитатором. Только Толстой — заика, а Краузе подумал, что Герцен притворился заикою. Сцена вышла пресмешная. По прибытию в канцелярию губернатора Толстой увидел меня, где-то раньше с ним встречавшегося, и бросился ко

мне с заикающеюся просьбою засвидетельствовать, что он вовсе не Герцен, а Толстой, что я и исполнил...» [12]

Много записей в книжках Черепанова посвящено его знакомству с декабристами. Больше десятка лет разделяют посещение Петровского завода и жизнь Черепанова в Казани, но у Семена Ивановича остались живы впечатления от общения с замечательной когортой революционеров. И он заносит в книжку услышанное и увиденное им в те далекие годы. Вот эпизод из жизни А. С. Пушкина, рассказанный Черепанову В. Ф. Раевским, вот текст записки княжны Е. И. Трубецкой, разговор с Н. А. Бестужевым, эпизод из жизни В. Ф. Раевского...

Внимательно прочитав записные книжки С. И. Черепанова, видишь, насколько реальными были его планы издания «собрания сочинений». Жаль, что они не осуществились...

Да, немало успел сделать за свою жизнь Семен Иванович Черепанов. Недаром власть имущие: чиновники, фабриканты, купцы — побаивались его пера. Мы можем сказать совершенно определенно: Семен Иванович Черепанов был первым казанским журналистом-демократом. Неслучайно казанские газеты вообще почти не решались печатать его статьи: до последнего дня жизни разоблачал он «художества» сильных мира сего и заступался за простой люд — крестьян, мастеровых, рабочих...



ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ВОЛНАМ

Владимир Петрович Невельской не относится к профессиональным писателям, хотя он сумел издать за свою жизнь около десятка книг. «С натуры. Посвящается русским мужикам» (СПб, 1864); «Путевые записки от Санкт-Петербурга до Кронштадта и обратно чрез Ораниенбаум и Петергоф» (СПб, 1865); «Из народного быта» (М., 1866); «Карманная библиотека новостей и рассказов из народного быта, взятых мимоходом с натуры» (Нижний Новгород, 1869)... Все эти и прочие его книжечки, небольшие и по объему, и по формату с течением времени как-то почти бесследно пропали. Сейчас ни одна, даже самая крупная библиотека страны, не может похвастать, что в ней собраны все книги Невельского. Почти не встречаются они и в книжных библиотеках книголюбов. А в свое время — в момент выхода — книги Невельского наделали много шума и были очень известны. Особенно это относится к тем его книгам, что были изданы в Казани.

Первые свои книжечки Невельской напечатал в Москве и Петербурге. Особой славы они ему не принесли, но разошлись быстро: знание народной жизни и быта, народного языка сделало их популярными среди самого широкого читателя: среди мастеровых, разносчиков, приказчиков, мелких чиновников. В 1866 году Невельской приехал в Казань, и с этого года его жизнь тесно с ней связана. В этом же году выходит его первая «казанская книга» — «Казанские трактиры»...

Уже внешний вид небольшой книжечки говорит сам за себя: литографированная, привлекающая внимание обложка, крупный шрифт. Да и содержание книжки было очень доступным: сатирическое описание «прелестей» казанских трактиров...,

Кстати, эта первая казанская книжка Невельского вышла без указания фамилия автора. Его авторство мне удалось установить лишь по «Справочному указателю книг, вышедших в Казани», выпущенному книжным магазином А. А. Дубровина в 1868 году.

Но если первая казанская книжка Невельского прошла в общем-то незамеченной, то уже вторая вызвала и оживленные толки, и разговоры. И немалую роль во всем этом сыграло придуманное Невельским интригующее название «Казанские захолустья и трущобы». У всех в памяти было свежо заглавие романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы», многократно переиздававшегося и популярного в самой глуши России. А тут свои, казанские, трущобы. Как было не заинтересоваться читателю?

Книга еще не была напечатана (она вышла в свет в конце 1866 года, хотя на обложке и обозначен 1867 год), а о ней уже писали. Так, в сборнике «Казанское книжное дело» сообщалось: «Известный чтец литературных вечеров Петербурга и Москвы, автор нескольких книг из народного быта, В. П. Невельской написал во время пребывания своего нынешним летом в Казани сочинение под заглавием «Казанские захолустья и трущобы». Это интересное сочинение уже куплено казанским книгопродавцом И. А. Шидловским и выйдет в свет в первых числах ноября нынешнего года. Нельзя не порадоваться такому предприятию...» [1]

О популярности книги Невельского свидетельствовала и столичная «Иллюстрированная газета». 22 декабря 1866 года она публикует на своих страницах восторженную корреспонденцию из Казани: «Нельзя умолчать о сочинении В. П. Невельского «Казанские захолустья и трущобы». Это роман — не роман, поэма — не поэма, а какое-то особенное произведение неопределенного свойства. Этой книги было продано в первый день ее выхода до 300 экземпляров (цифра огромная для Казани той поры — *В. А.*) Были даже избранники, которые, не дожидаясь ее выхода из переплета, умоляли издателя продать им в листах несколько экземпляров». [2]

Воодушевленный успехом, Невельской в следующем, 1867 году, выпускает книгу «Казанские тайны». На этот раз образцом для заглавия послужил опять-таки известнейший в России роман Эжена Сю «Парижские тайны».

Невельской твердо усвоил, что заглавие книги имеет большое значение для ее популярности и старался уже обложкой привлечь читателя...

Конечно, никаких «тайн» с запутанными авантюрами и любовными интригами в книге не было. «Казанские тайны», как и предыдущая книга Невельского, — это сборник очерков из народной жизни. Перед нами встает не официальная, парадная Казань с ее архитектурными памятниками, университетом и торцовыми мостовыми, а Казань голытьбы, для которой гривенник — это уже радость сытно прожитого дня. Невельской сохранил нам облик города, «когда Черное озеро было в полном смысле Черным озером; когда не было дамбы, и сообщение между городом и слободой было так же затруднительно, как сообщение между Камчаткой и Амуром, когда в Суконной стояла вечная грязь, а в Подлужной на улицах мальчишки ловили окуней и карасей...» [3]

Кроме двух вышеназванных книг Невельской издал в Казани еще «Сцены в полиции» (1867 г.) — сатирическую картину полицейского участка и нравов блюстителей порядка, а также «Плач целовальников» (1868 г.) — частушки о казанских кабатчиках.

Чем объяснить успех книг Невельского? Немалую роль сыграли, конечно, их названия. Кроме того, Невельской первым из местных литераторов открыл мир казанской бедноты, привлек к нему внимание. Он правдиво изобразил, в каких ужасающих условиях существовали жители Адмиралтейской и Суконной, Архангельской и Татарской слободы, «Казанских ущелий».

Поэтому-то и сейчас читаешь с интересом книги Невельского: с их страниц встает жизнь простого казанского люда, изображенная пером наблюдательного, зоркого очеркиста, не только сочувствующего положению народа, но и хорошо знающего его обычаи, его язык.

Немало способствовала популярности книг Невельского и личность самого автора. Невельской был оригинальным человеком, склонным к искусным шуткам, розыгрышам, мистификациям (отсюда, наверное, и громкие названия книг — «Казанские тайны», «Казанские захолустья и трущобы»...). Однажды, например, он разыграл всю интеллигенцию Казани, распустив слух о том, что в город приехал Николай Алексеевич Некрасов и остановился в одной с ним гостинице. Некрасов

пользовался в Казани чрезвычайной популярностью и можно представить, сколько волнений вызвало это сообщение Невельского.

О последствиях шутки Невельского не без юмора вспоминает Семен Иванович Черепанов, известный казанский журналист-демократ: «Толпы молодежи начали приходить в гостиницу, чтобы взглянуть на знаменитость и познакомиться с ней, но Невельской говорил всем, что поэт спит и показывал в номер все спящего гостя. Все благоговейно вглядывались на спящего. В напрасном ожидании пробуждения молодые угощали Невельского, на что он и рассчитывал. И даже были этим счастливы. Один местный писатель убедительно просил В[ладимира] Н[евельского] привезти к нему дорогого посетителя Казани, и тот обещал завтра же... Мало этого: в это время составлялся литературный вечер, Невельской заявил, что Некрасов желает читать на нем. Обрадовались и даже дали В[ладимиру] Н[евельскому] десять даровых билетов, чтобы привез поэта... Понятно, что Некрасова вовсе не было в Казани»[4].

Вообще, по-видимому, Владимир Петрович Невельской был личностью колоритной. Бывший моряк, капитан-лейтенант в отставке, он занялся непривычным для него делом — литературой — уже в последние годы жизни. Вместо того, чтобы спокойно жить на пенсию и, как это бывало принято у бывших моряков, выращивать розы, Владимир Петрович пустился в новое плавание — по литературным волнам. И, надо сказать, это плавание неудачным не назовешь...



КАЗАНСКАЯ ГАСТРОЛЬ ОЛДРИДЖА



Театральное прошлое Казани богато событиями. И бесспорно, одним из самых ярких и значительных явлений театральной жизни были гастроли великого негритянского трагика Айры Олдриджа в декабре 1864 — январе 1865 года.

Олдридж — один из величайших трагиков XIX века, артист с мировой славой. Кроме огромного таланта, внимание публики к нему привлекала и его биография, похожая на интереснейший роман с запутанной и захватывающей интригой.

Дед Олдриджа был вождем одного из негритянских племен на западном берегу Африки, отец — пастором церкви для «чернокожих» в Балтиморе, северном штате Америки, где формально не существовало рабства. Здесь в семье «свободного» негра и родился Айра.

О жизни маленького Айры почти ничего неизвестно. Впрочем, ее легко представить. И сейчас жизнь негра в США отнюдь не напоминает райскую, а что было 150 лет назад? Как раз в ту пору Гарриет Бичер-Стоу дописывала «Хижину дяди Тома...». Так что стоит вспомнить горькие и гневные страницы этого романа, прочитанного и перечитанного многими поколениями, и мы представим жизнь маленького негритенка...

Айре приходилось еще горше, чем его сверстникам. С детства он мечтал о настоящем театре, с детства всем его существом завладела любовь к Шекспиру. А над входами в театры уютной Балтиморы висели никого не удивлявшие таблички: «Собакам и неграм вход воспрещен». Впрочем, Балтимора не была исключением: такие порядки были законом для любого театра США, в американских театрах не могло быть ни негра-актера, ни негра-зрителя.

Нельзя играть в театре для белых? Так пусть будет театр для черных! Айра и его друзья собирают само-

деятельную негритянскую театральную группу, которая с успехом выступает в негритянских районах Балтиморы. Один спектакль, второй, третий... И наконец — «Ромео и Джульетта» Шекспира. Айра играет Ромео без грима — кто сказал, что Ромео и Джульетта обязательно должны быть белыми? У черного Ромео будет черная Джульетта!

Что дальше? Успех у зрителей и... разгром театра. Белые расисты не желали видеть в городе черного Ромео. Перед Олдриджем возникла угроза линчевания...

Отец Айры — пастор Даниил Олдридж — очень беспокоился о сыне. Ведь одного из сыновей он уже потерял: старший брат Айры был зарезан в Новом Орлеане за пустяковую ссору с белым. «Никакого следствия возбуждено не было,— с горечью вспоминал об этом впоследствии Айра в России,— не было начато никакого процесса: ведь это был только негр!» [1] Даниил Олдридж убедил сына уехать в Англию.

Олдридж поступает в Глазговский университет, успешно учится в нем. Но главное для него по-прежнему — театр. С триумфом выступает он на сцене лондонских театров в роли Отелло.

Не только на сцене, и в жизни ему приходилось сыграть первое действие шекспировской трагедии. Русский биограф Олдриджа К. Званцев, лично знавший артиста, так писал об этом: «В одно из представлений... его пригласили в ложу к какому-то важному представителю графства Беркс и члену парламента; покуда тот рассыпался в похвалах и комплиментах, наш актер успел до того обворожить дочь его, что эта новая Дездемона тут же решилась для него оставить все на свете и шесть недель спустя была женою Олдриджа». [2] Лорду пришлось смириться с этим браком, а его дочь довела роль Дездемоны до конца, но без трагического финала: она была верной спутницей Олдриджа во всех его поездках и странствиях.

Но скоро и в Англии двери театров закрылись для Олдриджа. Верх взял прочно укоренившийся предрассудок: негр не может играть роль белого. И великий артист едет на европейский континент, его гастроли с огромным, необычайным успехом идут в Швейцарии, Франции, Бельгии, Австрии, Венгрии, Швеции, Герма-

нии. Олдриджу вручают ордена, академии наук и художеств избирают его своим почетным членом.

В монологе, написанном в стихах, Олдридж обращается к берлинской публике: «Я сын страны, черное племя которой знает лишь жажду крови и смертоносные битвы... Еще не пробудившееся от умственной ночи, одинокое человеческое племя блуждает, не зная мира. Меня, родившегося на пустынном берегу моря, достиг свет знания... Как солнце, выходя из волн, разбивает оковы, в которых находилась природа, так под мягкими лучами света растаяло темное облако, и ярко вспыхнул дух дикаря, который все же человек, сын семьи человеческой... С черным лицом, дитя солнца, я стою перед вами, но в душе моей — свет»[3].

В 1858 году Айра Олдридж впервые приезжает в Россию. Здесь он нашел не только горячих поклонников — они были везде — но и преданных друзей, не только шумное восхищение, но и глубокое понимание. И Россия стала второй родиной Олдриджа. До самой смерти в 1867 году он проводит почти все время в нашей стране. Да и умер-то Олдридж по дороге в Россию — в Лодзи.

Реализм, суровая правда в трактовке шекспировских образов — а ко времени приезда в Россию Олдридж играл только Шекспира — оказались очень близкими передовым русским людям, созвучными освободительным идеалам русских демократов-разночинцев. Настоящим другом артиста стал Тарас Шевченко.

Об этом знакомстве стоит рассказать подробнее. Встретились Шевченко и Олдридж в доме Ф. П. Толстого, художника, гравера и скульптора, много способствовавшего незадолго перед этим своим заступничеством перед Александром II возвращению Шевченко из ссылки. Благодаря воспоминаниям дочери Толстого, мы хорошо знаем о деталях отношений Олдриджа и Шевченко.

«Бывало войдет Олдридж своей быстрой, энергичной походкой и тотчас же спросит:

— А где же артист? — так он называл Шевченко, ибо всякая попытка произнести это имя кончалась тем, что он, покатываясь со смеху над своими тщетными усилиями, повторял: «Ох эти трудные русские фамилии!»

Кроме сходства характеров, у этих людей было много общего, что возбуждало у них глубокое сочувствие друг к другу. Один в молодости был крепостным, другой принадлежал к презираемой расе и испытал в жизни много горького и обидного. Оба горячо любили свой обездоленный народ...

Они удивительно хорошо понимали друг друга: оба были художниками, стало быть, наблюдательны, у обоих были выразительные лица, а Олдридж жестами и мимикой просто представлял все, что он хотел сказать»[4].

Шевченко мы обязаны дошедшим до нас замечательным портретом Айры Олдриджа — очень похожим, с верно схваченным выражением глаз великого трагика.

Дружны были с Олдриджем и русские артисты — М. С. Щепкин, П. М. Садовский. В Петербурге русские коллеги сложили в его честь стихотворение:

«Ты с помощью ума, таланта и труда
Для русских пояснил великого Шекспира!
И не забудем мы отныне никогда
Отелло, Шейлока и Лира!»[5]

Игра Олдриджа потрясала даже самых больших русских артистов. Гликерия Федотова с подкупающей искренностью писала об этом: «Какое-то новое, неиспытанное чувство овладело мною, когда я смотрела на Олдриджа. Черный, некрасивый, говор несколько гортанный, — он играл по-английски, а наши артисты давали ему реплики по-русски, что, конечно, мешало цельности впечатления, но, несмотря на неприятную смесь языков, он заставлял забывать все и так увлекал своей яркой игрой, так пленителен, добр, наивен и трогателен был в своих нежных сценах и так страшен и беспощаден в своем гневе. И в то же время до слез было жалко эту дивную природу, эту добрую душу, и всех Отелло жалко... Это бесхитростное дитя природы заставляло до боли сердечной страдать с ним, и поэтому безутешно делалось и горе зрителя, что перед ним страдал беспомощный ребенок. А ведь нет же мучительней горя, как смотреть на страдание беспомощной детской души! Это был превосходный трагик!»[6]

Олдридж выступал не только в Петербурге и Москве, он исколесил всю Россию! И всюду, куда он ни приезжал, два—три его выступления поднимали театр в

глазах зрителя на высоту, неслыханную для провинции. Его приезд становился целой эпохой в культурной жизни города. Так было и в Казани.

Казанскому театру времен гастролей Олдриджа гордиться было абсолютно нечем. Городу не везло с театром. Пожар 1860 года полностью уничтожил театральное здание — одно из лучших в провинции. С тех пор в Казани не было постоянной труппы, а приезжавшие гастролеры выступали в простом дощатом балагане, правда, по размерам довольно внушительном. Балаган этот выстроил на Арском поле купец Зурин, понадеявшийся и из театра извлечь прибыль. Внутри балаган однако был не намного хуже других провинциальных театров: довольно просторная сцена, два ряда лож с балконами и амфитеатром над ними, рядов двенадцать кресел.

Но главное, конечно, было не в здании. В театр пришел новый зритель — разночинец, студент, мастеровой. И он хотел видеть на сцене настоящую, подлинную жизнь. А мелодрамы, водевили и оперы-буфф его не удовлетворяли. В результате — полупустой зал в театре, возмущенные газетные статьи. Антрепренеры и актеры еле-еле сводили концы с концами. «Но вот явился в Казань Олдридж,— пишет казанский журналист С. И. Черепанов, — и дал театральному делу совершенно иной оборот»[7].

20 спектаклей с участием великого трагика! Казань увидела весь репертуар Олдриджа: «Отелло», «Макбета», «Шейлока», «Короля Лира», «Ричарда III». Казанцы были даже счастливей театралов столицы: в Петербурге по цензурным соображениям была запрещена постановка «Макбета»: король-убийца на сцене мог навести на мысли о многих русских царях, взошедших на трон при весьма туманных и загадочных обстоятельствах...

С восторгом писал о гастролях Олдриджа казанский корреспондент журнала «Русская сцена»: «Театр, едва ли когда видевший более половины мест занятыми, стал... тесен для посетителей, и содержатель театра, только что перед тем стеснявшийся платить жалованье артистам, вдруг каждый вечер в течение почти месяца начал получать по 500 рублей и более чистого дохода»[8].

С таким же восхищением пишет об Олдридже и

С. И. Черепанов, посетивший все спектакли с его участием в Казани: «Никто, конечно, не усомнится в европейской известности Олдриджа, о чем гласит и его биография. Но долголетнее странствование его по России и особенно по провинции бросило некоторую тень сомнения... Но первое же представление рассеяло это сомнение до того, что даже рай (галерка — *В. А.*), намеревавшийся протестовать против высокой цены местам (двойной), можно сказать с благоговением затих — и вся публика убедилась, что стоило заплатить дороже... Спектакль прошел благоговейно: внимание было такое, какого уже больше быть не может; кажется боялись пропустить не только одно слово, но даже один звук... Во всем артист был совершенен, это — хронометр Шекспира...»[9].

Особенно бурно принимала Олдриджа молодежь: студенты, демократически настроенная интеллигенция. Его гастроли в Казани по времени совпали с отменой рабства в большинстве штатов США. События в США были хорошо известны в России, волновали они и передовых казанцев. Знали в Казани и то, что половину всех своих доходов Олдридж жертвовал на освобождение негров. Поэтому его триумф был не просто триумфом артиста, это было открытое выражение симпатии освободительному движению, это была почти политическая демонстрация. Демократическая Казань хорошо помнила выстрелы 6 июня 1864 года, оборвавшие жизнь пяти пламенных революционеров, организаторов «казанского заговора», пытавшихся поднять восстание против царизма. И когда молодежь выражала свои симпатии Олдриджу, это было актом солидарности с любой борьбой против насилия и гнета.

Нити, связавшие Олдриджа и молодежь, отметил и корреспондент «Русской сцены»: «Молодое поколение принимало Олдриджа с восторгом. В день бенефиса кружок любителей драматического искусства поднес букет, обвитый голубой лентой, с латинской надписью, где он назван «величайшим трагиком всех веков». В один из последующих спектаклей поднесли ему лавровый венок с тою же надписью, только на греческом языке. Кроме того, была наряжена особая депутация — заявить благодарность за бесконечное наслаждение, которое он доставил своей игрой, раскрывшей в Шекспире

новые, доселе неуловимые красоты. Олдридж принял депутацию с распростертыми объятиями.

— Поверьте, господа, — сказал Олдридж депутации, — что ваш подарок навсегда останется дорогим для моего сердца. Ваши ленты с драгоценными для меня словами бережно будут храниться, как залог вашей любви ко мне. Букет ваших цветов всегда напоминает о счастливом для меня дне, и я поставлю себе в обязанность хотя один листочек завядшего цветка оставить при себе: он всегда будет напоминать дорогих для моей памяти казанских студентов...

— Мы все студенты, — повторял он ежеминутно...» [10]

Так негр, которому цивилизованная Америка и Англия отказали в праве быть человеком и артистом, почувствовал себя родным в Казани. И пусть артист знал лишь несколько слов по-русски, а английским владели в Казани очень немногие, — Олдридж и зрители прекрасно понимали друг друга. Их объединяло в одном порыве настоящее искусство и вера в светлые идеалы... Идеалы будущего человечества, когда не будет угнетения, варварства, деспотизма. Когда все расы и люди всех цветов кожи будут братьями на планете.

Провожала Олдриджа вся Казань...



ОПАСНЫЙ ГОСТЬ

(Литературно-документальная новелла)



аленький пароходик «Нахимов» суетливо шлепал лопастями колес. Он так медленно двигался, что казалось несет его неторопливое течение Волги, не спрашивая куда, не думая зачем...

На палубе, уютно устроившись в кресле, дремал крупный, несколько странно одетый мужчина. Серый кафтан-ополченка был распахнут, широченные малиновые шаровары, небрежно засунутые в сапоги, колыхались двумя флагами от легкого ветерка. Густые курчавые волосы блестели на солнце.

Все в этом человеке говорило о здоровье, могучей силе и энергии. На то, что он давно разменял шестой десяток, намекала лишь легкая проседь в смоляно-черных волосах. Даже во сне он довольно улыбался...

Да, Александр Дюма был доволен собой и не скрывал этого. Автор обошедших весь мир «Мушкетеров» и «Графа де Монте-Кристо» находился в зените славы и с удовольствием купался в ее лучах. Давно задуманное путешествие по России осуществлялось с завидной легкостью. Авансы, на которые не поскупился Дюма, уезжая из Франции, начали выполняться.

Дюма многое наобещал читателям своего журнала «Монте-Кристо»: описать Петербург с его белыми ночами, Москву с колоколом в 330 000 фунтов, Нижний Новгород с купцами из Персии, Индии и Китая, «царицу европейских рек — Волгу». Дюма сулил промчаться метеором по бескрайним степям и подвести читателя к «скале, к которой был прикован Прометей». А затем он звал своих поклонников «посетить стан Шамиля, этого другого Титана, который в своих горах борется против русских царей». В том, что Шамиль хорошо примет незванного туриста, Дюма не сомневался: «Знает ли

Шамиль наше имя и позволит ли он нам провести одну ночь под его палаткой? Почему нет? Разбойникам испанской Сьерры имя Дюма было хорошо известно, и они охотно разрешили провести у себя три ночи».

Что ж, Петербург, Москва, Бородино, Нижний уже позади. Русское гостеприимство превзошло все ожидания. В этой далекой России его знают не хуже, чем в родной Франции. А в «Монте-Кристо» из номера в номер уже печатается роман-записки «От Петербурга до Астрахани». Даже погода благоприятствует путешествию: конец сентября, а тепло, как весной в Ницце...

— Мэтр, проснитесь..., — ласково потрепал за плечо Дюма его компаньон, пейзажист Жан-Пьер Муане, невысокий, стройный брюнет.

— Карашо, — ответил Дюма единственным русским словом, которым франтил очень часто — впопад и невпопад. — Где мы?...

Александр Калино, студент второго курса Московского университета, приставленный к Дюма в качестве переводчика, наполовину высунул голову из каюты:

— Казань, господин Дюма, скоро Казань. Я смотрел по карте — через час там будем.

Дюма оживился, встал и, держась за поручни, стал всматриваться в левый крутой и поросший лесом берег:

— Казань... Иван Грозный, Курбский... Это исторический город! Жан, вы напишите пятьдесят, нет, сто пейзажей, но не трогайте историю. Я это сделаю лучше!

И Дюма помахал рукой, которой намеревался описать казанскую историю.

— Я чувствую, что в этом городе, как нигде в России, жив мираж истории. И она оживет под моим пером! Только... — Дюма понизил голос, — только... я не знаю ни одного казанца. В Петербурге, в Москве — везде были знакомые. В Нижнем Новгороде эта прелестная чета, Анненковы. Но здесь?

— Мэтр, а письма? Вы же запаслись рекомендательными письмами, — напомнил Муане.

— Да, конечно... Но это совсем другое дело! Знают ли в Казани о Дюма? Подумайте, Дюма — в Казани! Мы будем для казанцев сюрпризом. Неожиданными гостями...

Знаменитый французский романист ошибался. В Казани его давно ждали... жандармы. Еще два месяца назад срочной фельдъегерской почтой было доставлено совершенно секретное предписание князя Долгорукова, шефа всех русских жандармов. Долгоруков сообщал о возможном визите Дюма и предписывал установить за ним тайное наблюдение, а «что замечено будет, донести мне в свое время».

Почему Дюма вызвал у жандармов такие опасения? Словно революционер, приехавший в Россию для организации подпольных обществ?...

Архивы документально точно отвечают: французский писатель давно уже числился в списках «персон нон грата» — нежелательных для России лиц. Каллиграфически исписанные листы — наверное, только в жандармских канцеляриях были такие ровные нажимы и росчерки — подробно рассказывают о всех его, с полицейской точки зрения, прегрешениях. Из 1858 года, когда Дюма путешествовал по России, надо перенестись в 1840... В этом году вышел роман «Записки учителя фехтования», в котором Дюма впервые написал о России. Роман этот и Николай I, и его двор восприняли как пушечный выстрел. Немудрено: главными его героями были декабрист Иван Александрович Анненков и его жена — француженка Полина Гебль. Мало того, Дюма вложил в уста казненных декабристов пророческие слова: «Да здравствует Россия! Да здравствует свобода! Наши отмстители придут!»

Крепко досталось в романе всей династии Романовых. В исторических отступлениях Дюма обнародовал позорные страницы из летописи царствующего дома — убийство Павла I (по официальной версии вплоть до 1905 года Павел числился умершим от апоклепсического удара), самодурство великого князя Константина, наказывающего шпицрутенами сбившуюся с аллюра лошадь, умственное убожество Анны... Все тщательно замалчивавшееся и скрывавшееся Дюма вынес на суд читающей Европы. О романе заговорили во Франции, Германии, Англии. Только в России он был запрещен, но его провезли через границу, и он был широко известен и русскому читателю.

Понятно, кем после этого стал Дюма для Николая I. Дорога в Россию была для него закрыта, а парижским

агентам III отделения вменялось в постоянную обязанность следить за всеми новыми произведениями Дюма. Как бы не вздумал снова писать о России...

Поэтому-то Дюма только в 1858 году получил визу на въезд в Россию (к этому времени Николая I на русском престоле сменил Александр II), поэтому-то так беспокоился шеф жандармов Долгоруков: царь лично ему приказал организовать тайное наблюдение за Дюма. Добродушный легкомысленный весельчак-писатель внушал III отделению страх...

Генерал-лейтенант Львов, начальник седьмого корпуса жандармов, не особенно любил произносить речи. Слова шли трудно, побагровела шея, пальцы барабанили по зеленому полю длинного стола. Главный казанский жандарм проводил инструктаж:

— Этот Дюма, господа, может все. Совершенно беспардонный господин. Беспардонный... И я прошу Вас...

Львов никак не мог высказать, что же он просит. Наступила пауза. Монотонно тикали часы и барабанили пальцы генерала. Присутствовавшие — ректор университета Осип Михайлович Ковалевский, интендантский полковник Жуковский, высокопоставленный чиновник из правления путей сообщения Фридрих Ипполитович Лан — недоуменно переглядывались. С чего это жандармский генерал именно их пригласил на разговор о Дюма?

— Господин полковник... Дюма везет рекомендательное письмо Вам. И Вам, Фридрих Ипполитович, — наконец собрал свои расползшиеся мысли Львов. — И только совершенно конфиденциально, господа, — он думает прожить в Казани неделю. Не-де-лю! Надо, чтоб ничего нежелательного этот француз у нас не увидел.

Генерал укоризненно посмотрел на Ковалевского, напоминая ему об истории, наделавшей много шуму в начале года, когда студенты добились отставки профессора Берви, нападавшего в лекциях по физиологии на «пагубные основы материализма».

— Осип Михайлович! Покажите ему университет. Как храм науки! Но без разговоров со студентами. Очень прошу Вас...

Раскланявшись и проводив ранних гостей до двери кабинета, Львов вернулся к письменному столу. Его

ждала неприятнейшая бумага: подполковник Каптев, вместо того, чтобы послать свое донесение в Петербург, прислал его в Казань. С отвращением посмотрев на письмо младшего коллеги из Нижнего Новгорода, Львов взялся за перо. Этот Дюма уже начал доставлять хлопоты!

Донесение в самом деле было неприятным. Дюма послал из Нижнего объемистый конверт. Адрес на конверте: «Париж, Амстердамская линия, 77...»

Львов побагровел еще больше. Он чувствовал ненависть к обоим — и к Дюма, которого называл про себя французским пустобрехом и щелкопером, и к болвану Каптеву, который обратил внимание на объем конверта, на адрес, но не подверг его перлюстрации...

Усмехнувшись только уголками губ иностранному слову, обозначавшему в жандармском лексиконе «вскрытие и проверку писем частных лиц», Львов с еще большим ожесточением продолжал думать о Каптеве:

— Вскрыть — так не догадался! Или не решился? А донести в Петербург сам об этом боится! Я должен? Что скажет царь? Говорили, что ему докладывают обо всем, что делает Дюма...

Львов распечатал письмо из комитета иностранной цензуры, надеясь успокоиться за просмотром деловых бумаг. Из комитета сообщали, что распространение журнала Дюма «Монте-Кристо» в России запрещено. В романе-записках «В России» (первая часть «От Петербурга до Астрахани»), было куда больше истории, чем географии. И какой истории!

Даже названия глав жандармский генерал не рискнул бы прочитать вслух: «Стрелецкий бунт», «Жена денщика» (об Екатерине I), «Другая легенда московской Бастилии» (о княжне Таракановой), «Правая рука царя» (о всесильном Аракчееве), «Мученники» и «Изгнанники» (о декабристах)... Да это же целый курс русской запретной истории, к тому же написанной для самого широкого читателя блестящим прозрачным языком и освященный популярным именем Дюма!

Что, если в этом объемистом конверте была очередная глава для журнала «Монте-Кристо»? Ведь в Нижнем Дюма познакомился с недавно вернувшимися из сибирской ссылки Анненковыми, героями романа

«Записки учителя фехтования»... Они вели разговоры даже наедине!

Генерал представил название очередной главы — «Во глубине сибирских руд», с тоской попросил у бога милосердия, правда, решив припомнить эти минуты при удобном случае Каптеву, на которого божье милосердие явно не должно было распространяться...

«Корпуса жандармов подполковник Каптев от 26-го минувшего сентября за № 364 донес мне, что французский писатель Александр Дюма во время пребывания своего в Нижнем Новгороде отправил в Париж 24-го того же сентября конверт по адресу в Амстердамскую линию в дом № 77-й. Письмо это отправлено через Москву, по объему надобно полагать, что оно заключает в себе статью литературную», — медленно заключает мелким убористым почерком Львов. Еще раз перечитал, вверху поставил гриф «секретно», тяжело вздохнул и решил погодить с отправкой письма. Дописать его можно было уже после приезда этого, свалившегося как снег на голову, Дюма...

Надо сказать, что опасения Львова имели основания. Сейчас, через сто с лишним лет, мы можем судить об этом с большей, чем он, точностью. Александр II, действительно, узнал о промахе жандармских чинов: на письме Львова краткая пометка шефа всех жандармских корпусов России Долгорукова: «Доложено его величеству 10 октября». Но последствий для карьеры, которых так опасался казанский генерал, это не имело...

Что же увидел Дюма в Казани? В нашем городе он прожил, как и собирался, недолго. Его казанские письма полны восторга: «...Вся Казань узнала о моем прибытии и, благодаря русскому гостеприимству, я не нуждался больше ни в чем».

В другом письме Дюма выражался еще определеннее: «Я не знаю путешествия более легкого, покойного и приятного, чем путешествие по России. Услужливость всякого рода, приношения всякого рода сопровождают вас на вашем пути. Каждый человек с положением, всякий офицер в чинах, любой известный коммерсант говорит по-французски и тотчас же отдает в ваше распоряжение свой дом, свой стол и свой экипаж...»

Гостеприимство офицеров и чиновников, любезность их жен, пышные обеды — все это должно было скрыть от Александра Дюма настоящую Россию, оградить его от нежелательных для жандармов встреч.

Протяжно погудев для приличия — других пароходов у пристани не было — «Нахимов» пристал к берегу. До города было далеко, извозчики в длинных кафтанах зазывали клиентов.

Остановился Дюма и его спутники в доме для проезжающих пароходной компании «Меркурий». Покосившиеся деревянные домишки, ребятишки, по-деревенски играющие прямо на улице в бабки, — все это мало напоминало город. Собственно, это и не была Казань: для экономии владельцы компании снимали большой двухэтажный дом с поющими от старости половицами в Адмиралтейской слободе. Город начинался дальше — где виднелись башни Кремля.

Неугомонный Дюма сразу же решил нанести визиты и осмотреть Казань.

— Вы знаете, а я уже был здесь...

И Муане, и Александр Калино недоуменно посмотрели на Дюма. Увидев, что шутка удалась, Дюма продолжал:

— Мысленно... Я даже писал о Казани! В романе «Записки учителя фехтования»... Впрочем, господин студент, вы его не читали — в России он под запретом.

И довольный возможностью показать феноменальную память, Дюма процитировал самого себя:

— «Когда мы приехали в Казань, было уже довольно холодно. Здесь мы остановились на два часа и немного осмотрели этот наполовину азиатский город. В другое время я, наверное, познакомился бы с ним хорошо, но теперь нам нужно было спешить». Каково? Ни слова неправды! А теперь пришло «другое время» и давайте же не будем его терять...

Калино достал путеводитель по Казани и стал читать сведения о городе: сколько улиц, домов, дворян, купцов, мещан, церквей. Дюма записал несколько цифр, но это занятие очень быстро ему наскучило.

— Знаете, я не немец. Это немецкие историки с рождения обладают на черепе бугром статистики. Поэтому их никто не читает.

— Но все-таки и статистика нужна, — робко заметил Калино. — Кстати, автор этого очерка о Казани, который я сейчас читал вам, тоже немец. Профессор университета Эрдманн.

— Статистики — полезнейшие люди. Но я не буду делать визита этому профессору. А вам, господин студент, очень рекомендую, — засмеялся Дюма.

Дальше события развертывались в ритме быстрой мазурки. У Жуковских, которым Дюма привез рекомендательное письмо, его уже ждали. Обворожительно улыбалась хозяйка дома, кокетничали ее милые дочки, специально для гостей готовилась стерляжья уха. Приехал Фридрих Ипполитович Лан с приглашениями на ужин. Блестело золото аксельбантов и эполет, входили все новые и новые лица, имен которых Дюма даже не мог запомнить, шуршали юбки, улыбались хорошенькие губки...

— Господин Дюма, позвольте представить Вам мою жену...

— Господин Дюма, позвольте представить дочку...

— Позвольте представить...

И приглашения, приглашения... На обеды, ужины, на чай, на охоту. Дюма обещал побывать всюду...

Дважды он посетил университет и пил чай у ректора Ковалевского, где — совершенно случайно — познакомился с казанским полицмейстером. Опять-таки совершенно случайно университет в дни, когда здесь был Дюма, отличался тишиной и полным отсутствием студентов. «Университет в Казани — как все университеты, — писал впоследствии Дюма, — у него есть библиотека в 27 000 томов, которые никто не читает; сто двадцать четыре студента, которые занимаются как только возможно меньше; кабинет естественной истории, который посещают только иностранцы...» Оживился Дюма лишь в анатомическом театре, где ему показали скелеты известных казанских разбойников Быкова и Чайковского, много лет грабивших волжских купцов и казненных в 1847 году. С тех пор и хранились их скелеты в университете.

Романтическая история заинтересовала Дюма, и ректор был уже не рад, что привел гостя в анатомичку. Уж больно много вопросов задавал француз.

Вместе с переводчиком Калино Дюма заходил

в книжные лавки Мясникова и Дубровина. Он искал исторические романы о прошлом Казани. Студент добросовестно переводил названия книг: «Записки доброй матери или последние ее наставления при выходе дочери в свет», «Собрание сочинений» Пушкина, «Черный гроб или кровавая звезда. Поверье 17 века, третье переделанное издание», «Епанча, татарский наездник, или завоевание Казани царем Иоанном Грозным», «Собрание сочинений» Лажечникова, «Стихотворения» Огарева...

Полковник Жуковский, сопровождавший Дюма, замер. Обратил ли внимание Дюма на последнюю книжку? Кажется, нет... Враги престола Герцен и Огарев издают в недосягаемом Лондоне «Колокол», их имена как имена государственных преступников находятся под запретом, а тут, на видном месте, книга Огарева! Черт бы побрал этих книгопродавцев, везде суются купцы, а без присмотра могут натворить дел. Надо бы доложить об Огареве генералу, но полковник Жуковский понимал, что не сделает этого...

— Посмотрите, как популярны ваши соотечественники в Казани! — Жуковский для безопасности отвлекал Дюма в другой угол магазина. — Беранже, Сю... А вот и ваш знаменитый «Монте-Кристо»!

Полковник протянул Дюма два томика в четверку. В первом томе был помещен портрет Дюма, правда, весьма далекий от оригинала.

Громко расхохотавшись, Дюма потребовал немедленно продать ему эту книгу.

— Я буду во Франции пугать детей этим портретом!

Из других книг он выбрал восемь томов Лажечникова. Покупка обошлась в тринадцать рублей ассигнациями. Когда о цене узнал Жан-Пьер Муане, он ворчал целый вечер на Дюма:

— Можно было купить двадцать фунтов икры... Десяток индеек... Великолепные меха... Сафьяновые сапоги...

— Ничего,—успокаивал компаньона Дюма,— окупится с процентами. Я переведу этого господина (Дюма не выговаривал фамилии Лажечникова) на французский и напечатаю в моем журнале...

С этого же вечера Александр Калино и Александр Дюма стали переводить «Ледяной дом». Скоро он был действительно напечатан в «Монте-Кристо».

Неделя пролетела быстро. Сценарий, разработанный жандармами, блестяще осуществлялся. Падкая на знаменитостей светская публика, казалось, готова была превзойти самое себя. Дюма не просто гостеприимно принимали, перед ним заискивали и лебезили. В дворянских гостиных с восхищением повторяли даже совсем не лестную для Казани остроту французского романиста: «Почему вы ходите в таком костюме? — Я оставил европейский костюм в последнем европейском городе, Петербурге...»

Дюма стал неизменной темой для разговоров, заслонив собой даже комету, только что появившуюся и хорошо видную в длинные сентябрьские ночи. В другое время она бы вызвала столько пересудов — о грядущем неурожае, войне, холере... Сейчас же у всех на устах было имя Дюма.

Из встреч, незапланированных в кабинете генерала Львова, произошла лишь одна, да и то совершенно безобидная, — с парижским парикмахером Франсисом, успешно зарабатывавшим деньги в Казани. Франсис арендовал первый этаж в доме Перова, напротив университета. Над входом горделиво виднелась большая вывеска: «Имею большой выбор привезенных мною из Парижа красок для волос, окрашивающих мгновенно и нисколько не портя волос».

Франсис приезжал в Адмиралтейскую слободу — засвидетельствовать почтение знаменитому земляку. Говорил он с Дюма только о женщинах...

В день отъезда Дюма был приглашен поохотиться на зайцев. Полицмейстер своей властью задержал отплытие «Нахимова». Дюма по-царски отблагодарил его в своих записках: «Деспотизм доставляет много неудобств, но на этот раз как он был приятен». Охота была очень удачной. Перелески и жнивье кишели зайцами, словно их нарочно загнали туда (впрочем, кто знает? Может и нарочно...). Дюма настрелял их больше десятка. И когда он стоял, увешанный охотничьими трофеями, на палубе парохода и махал рукой казанским знакомым, провожающие получили его последнюю остроту:

— В Казани даже зайцы любезны!

Так закончилось пребывание Дюма в Казани. Гене-

рал Львов с облегчением доносил в Петербург: «Французский писатель Александр Дюма во время своего пребывания в Казани, в продолжение одной недели, не посещал никакого общества высшего круга, жил все время в конторе пароходного общества «Меркурий», в самой отдаленной части города, посещал дом полковника Жуковского, управляющего Казанскою комиссариатскою комиссией, которому был рекомендован из Санкт-Петербурга, и часто по целым дням пребывал в семействе подполковника инженеров путей сообщения Лан, посещал университет, где два раза был приглашен на чай к ректору университета, действительному статскому советнику Ковалевскому...

Вообще, Дюма в Казани не произвел никакого хорошего впечатления. Многие принимали его за шута по одеянию его, видевшие же его в обществе нашли его манеры и суждения общественные вовсе не соответствующими его таланту писателя.

4 октября Дюма отправился на пароходе через Самару в Астрахань, куда от меня предписано штаб-офицерам — самарскому и астраханскому иметь за Дюма секретное наблюдение...»

Жандарм был доволен, а потому и многословен. Он рассуждал даже о литературном таланте Дюма!

Говорили в этот вечер о Дюма и еще в одном доме — на чердаке флигеля, что приткнулся на склоне Поповой горы. Тут собрались студенты—те самые, которые, по словам Дюма, думали лишь о том, чтобы поменьше учиться: Николай Соковнин, Василий Хохряков, Александр Христофоров... Некоторые из них после истории с Берви были исключены из университета, их могли со дня на день отдать в солдаты, но они по-прежнему собирались вместе.

— Свежий «Колокол»... От 15 сентября...

— Читай вслух, не тяни... Что пишет Искандер?

— «Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног Дюма, как бегают смотреть «великого и курчавого человека» сквозь решетки сада, просятся погулять в парке... Нет, видно, образованным не станешь, как ни соединяй по несколько аристократических фамилий и как ни разоряй по несколько тысяч душ крепостных...»

— А у нас в Казани? Не так, что ли?

— Позор!

— Эти Ланы, Жуковские, званые обеды...

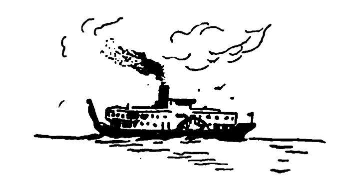
— Позвольте представить дочку...

— Оставил костюм в Петербурге? Как остроумно! И нет у них гордости за имя русское, за Россию...

Тут же, при свете колеблющегося огонька свечи, была набросана статья, которую удалось поместить в «Казанских губернских ведомостях».

«...Нам и жаль, и стыдно говорить о том энтузиазме, с каким Дюма принят был некоторыми лицами у нас...»

Наверное, Дюма обрадовался бы встрече с этими молодыми людьми. Он любил горячие головы революционеров — недаром так пылко он поддерживал в старости Гарибальди и был даже министром в его правительстве. Но гостеприимство, устроенное жандармскими заботами, увело его далеко от настоящих русских людей, настоящей России. Дюма не увидел ее — ни в Казани, ни в других городах...



ПРИМЕЧАНИЯ

Подарок декабриста

1. Сын Отечества и Северный архив, 1830, № 1, с. 13.
2. Лажечников И. И. Сочинения. Т. 12. М., 1884, с. 378—379.
3. Завалишин Д. И. Записки декабриста. Мюнхен, 1904, с. 172—173.
4. Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского. Отдел рукописей. Ед. хр. 4048 (в дальнейшем сокращенно: НБЛ, Отд. рук.).
5. Все цитаты — по «Дворянской родословной книге Казанской губернии», ч. 2, т. 1, стр. 41—42 (хранится в отделе рукописей Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского).
6. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 1127.
7. Подробный анализ текста казанских списков «Горе от ума» см. в нашей статье «Казанские списки комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». (Казань в истории русской литературы. Сб. 2. Казань, 1968, с. 93—105).
8. Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина. Фонд 78, инв. 163770, с. 155—156.
9. Там же, с. 157.

Крамольная диссертация

1. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 5995, л. 17 об.
2. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь, т. 1, ч. 1, М., 1927, стб. 149.
3. И черновик письма учителю Полтавской гимназии Боровиковскому, и прошение цитируются по статье П. А. Зайончковского «Кирилло-Мефодиевское общество» (Труды историко-архивного института, т. III, с. 181—182).
4. Там же, с. 197.
5. Русский Архив, 1892, кн. 2, с. 345—346.
6. Например, артор самого фундаментального исследования о кирилло-мефодиевцах П. А. Зайончковский (Кирилло-Мефодиевское общество. — В кн.: Труды историко-архивного института, т. III) не видит данных о принадлежности И. Я. Пасяды к левому крылу общества. Напротив, Н. Д. Назаренко (Общественно-политические, философские и атеистические взгляды Т. Г. Шевченко. М., Соцэкгиз, 1961) причисляет И. Я. Пасяду к последователям Шевченко, но не приводит никаких доказательств этого утверждения.
7. Украинская советская энциклопедия. Т. 2. Киев, 1963, с. 422.
8. Шевченко Т. Г. Дневник. 1857—1858. Киев. «Молодь». 1963, с. 104.
9. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 5995, л. 1.
10. Там же, лл. 5—5 об.
11. Там же, л. 18.
12. Подробнее о диссертации И. Я. Пасяды см.: В. В. Аристов. Диссертация кирилло-мефодиевца И. Я. Пасяды.— В кн.: Описание рукописей Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского. Вып. XI. Неизвестные страницы литературной жизни казанского студенчества 30—40 гг. XIX в. Казань, 1962, с. 21—39.

[13]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 7825.
[14]. Центральный госархив ТАССР. Фонд 92, опись 1, дело 6071, лл. 18—19, 76—76 об., 96—97.

Губернатор ошибался...

[1]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 4690, док. 27.
[2]. Н. Смирнов-Сокольский. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962, с. 354—359, 370.
[3]. «Цветник». СПб, 1809, № 3, с. 377.

Второе рождение сатир Феонова

[1] «Вестник Европы», 1820, № 18, с. 95—98; 1822, № 19, с. 204—209; 1825, № 19, с. 211—213 (все стихотворения подписаны: «Василий Феонов. Пермь»); «Заволжский муравей», 1833, ч. II, № 12, с. 666—671 (без подписи, помета: «Пермь); ч. III, № 2, с. 1126—1129 (без подписи, помета «С берегов Камы. 1833 года»).
[2] «Пермский сборник», кн. 1, отд. IX, М., 1859, с. 49.
[3]. Там же, с. 53—54.
[4]. Источники и пособия для изучения Пермского края. Собрал Д. Смышляев. Пермь, 1876, с. 101.
[5]. В настоящее время находится в отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, ед. хр. 7725. Здесь же хранится еще один рукописный сборник, в составе которого есть три стихотворения В. Т. Феонова (ед. хр. 3937, лл. 42—51 об.).
[6]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 7781, л. 8.

Нижегородский вольнодумец

[1] НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 4046, 1807 год, док. 19.
[2]. Там же.
[3]. Там же, док. 25 (письмо И. И. Кужелева) и 7 (письмо И. И. Кужелеву из общества).
[4]. Там же. Ед. хр. 4159, док. 5.
[5]. Там же. Ед. хр. 4175, дело 4.

Сборник, отпечатанный на ундервуде

[1] НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 7718, л. 6.
[2]. Там же, л. 13.
[3]. Там же, л. 53 об.
[4] Там же, л. 29.

О чем рассказали анкеты

[1]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 7294, с. 25.
[2]. Там же, с. 47.

История одного автографа

[1]. Блок А. А. Собрание сочинений в 8-ми томах. М.—Л., Гослитиздат, 1960—1963. Т. 7, стр. 319. (В дальнейшем просто — Блок, т. ..., с. ...).

[2] Бекетова М. А. Александр Блок. Л., 1930, с. 35—36.
[3]. Цитируется по книгам: «Письма А. Блока родным» (М.—Л., 1932), т. II, с. 75; Блок, т. 7, с. 80; там же, с. 162.
[4]. Блок, т. 8, с. 111.
[5] Ащукин Н. С. А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1924, с. 25—26.
[6]. Блок, т. 8, с. 115—116.

Книга вернулась на родину

[1]. Ковалевская С. В. Воспоминания и письма. М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1961, с. 179—180.
[2]. Там же, с. 315.

Дом напротив минарета

[1]. Воспоминания Л. Кленова. — «Большевистский путь. Орган Касимовского райкома КПСС и райисполкома», 1 мая 1950 г.

Казанский летописец

[1]. Баженов Н. К. Прекрасный молодой человек. Повесть. Казань, 1848, с. 34—35.
[2]. Баженов Н. К. Казанская история. Казань, 1847. Часть 1, с. V.
[3]. Там же. Часть III, с. 40—42.
[4]. Цит. по кн.: Н. Агафонов. Казань и казанцы. Вып. II. Казань, 1907, с. 43.
[5]. Современник, 1847, т. V, № IX (сентябрь), с. 18—28.

Изгнан за книгу

[1]. Цит. по кн.: П. М. Дульский. Э. П. Турнерелли. Очерк. Казань, 1924, с. 5.
[2]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 8384. Э. Турнерелли. Казань и ее обитатели. Перевод Н. Щапкина. Л. 1.
[3]. В. А. Верещагин. Русские иллюстрированные издания XVIII—XIX столетий. Спб, 1898, с. 247.
[4]. Казанские губернские ведомости, 1843, № 42, 45, 47.
[5]. Казанские губернские ведомости, 1843, № 47, с. 294—295.
[6]. Там же, № 47, с. 293.
[7]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 8384.
[8]. Там же, лл. 3, 4.

Сибирский казак Семен Черепанов

[1]. Черепанов С. И. Отрывки из воспоминаний С. И. Черепанова, напечатанные в «Древней и новой России» 1876 г. Казань, 1879, с. 31.
[2]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 219. Выборки из корреспонденций 1860—1868 гг. Лл. 138—138 об.
[3]. С. И. Черепанов. Путелетатель и его письма. Казань, 1868, с. 66—68.

[4]. Там же, с. 69.
[5]. Там же, с. 58.
[6]. НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 219, л. 138 об.
[7]. Там же. Ед. хр. 220.
[8]. Там же. Ед. хр. 274.
[9]. Там же. Ед. хр. 219, лл. 24 об. —25.
[10]. Там же, л. 9. Запись относится к 1860 г.
[11]. Там же, л. 112. Запись относится к 1865 г.
[12]. Там же, л. 68 об. Запись от 15 августа 1863 г.

По литературным волнам

[1]. Казанское книжное дело. Выпуск 1. Казань, 1866, с. 19.
[3] Иллюстрированная газета, 22 декабря 1866 г., № 50.
[3]. В. П. Невельской. Казанские тайны. М., 1867, с. 1.
[4]. НБЛ, отд. рук.. Ед. хр. 220, лл. 71—72.

Казанская гастроль Олдриджа

[1] Цит. по кн.: Дурылин С. Айра Олдридж. М.—Л., 1940, с. 9.
[2]. Званцов К. Айра-Альдридж. Очерк его жизни и представлений. Одесса, 1861, с. 7—8.
[3] Цит. по кн.: Дурылин С. Айра Олдридж. М.— Л, 1940, с. 27.
[4] Там же, с. 38.
[5] Там же, с. 45.
[6] Цит. по. кн.: Гоян Г. Гликерия Федотова. Жизнь и творчество великой русской артистки. М.— Л., 1940, с. 71. Воспоминания относятся к 1862 г.
[7] НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 219, с. 93.
[8] Русская сцена, 1865, кн. 4—5, с. 97.
[9] НБЛ, отд. рук. Ед. хр. 219, лл. 92—97 об.
[10] Русская сцена, 1865, кн. 4—5, с. 247—248.

Оглавление

Вячеслав Васильевич Аристов

ПОДАРОК ДЕКАБРИСТА

(По страницам неизвестных
рукописей и забытых книг)

Редактор Б. Н. Попов

Тех. редактор В. К. Шокин

Оформление худ. Р. Н. Степанова

Корректор Г. П. Кузьмина

Сдано в набор 18/IX-1969 г. Подписано к печати 18/III-1970 г ПФ 04029. Формат 84×108 1/32. Печ. листов 3,75(6,3). Учетн.-изд. 7,18. Заказ В-491. Тираж 8000 экз. Цена 28 коп.

Издательство Казанского Университета
г. Казань, ул. Ленина, д. 4/5.

Комбинат печати им. Камиля Якуба Управления по печати при Совете Министров ТАССР

г. Казань, ул. Баумана, дом 19.